

СИБИРИАДА

ВАСИЛИЙ
ШЕЛЕХОВ

Даль
СИБИРСКАЯ

Сибиряда

Василий Шелехов

Даль сибирская (сборник)

«ВЕЧЕ»

Шелехов В.

Даль сибирская (сборник) / В. Шелехов — «ВЕЧЕ»,
— (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-8654-2

Василий Шелехов (Василий Владимирович Гинкулов), известный сибирский прозаик и публицист. Он, как никто, знает и любит природу Приленья, Приангарья и Прибайкалья. И потому главная тема его творчества – тайга, ее необъятные просторы и богатства. Книга «Даль сибирская» – это насыщенная красками, временем и судьбами картина жизни Восточной Сибири. В повести «Ленские плёсы» автор предлагает вместе с героями пройти по ягодным борам и грибным урочищам, раскинувшимся на берегах могучей северной реки, где жители с детства постигают законы тяжелой таежной жизни. В повести «В детдоме» рассказана пронзительная, но добрая история семьи учителей, бежавших от голода из разоренной войной Центральной России в Якутию. В повести «Недоразумение» показаны события начала 1930-х годов – раскулачивание, «раскрестьянивание» крестьян и неумелые попытки генсека Хрущева поднять сельское хозяйство в послевоенной, послесталинской России. А «Нечаянность» – замечательная светлая история любви молодого парня и спасенной им девушки.

ISBN 978-5-4444-8654-2

© Шелехов В.

© ВЕЧЕ

Содержание

Повести	6
Ленские плесы	6
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Василий Шелехов

Даль сибирская

© Шелехов В., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

Повести

Ленские плесы

Оторвалась наша семья от родного прапрадедовского корня Тункинской долины в Прибайкалье, и давай нас мотать по белу свету из края в край. Мы, дети, не понимали причин и целесообразности скитаний, нас в эти дела не посвящали, да и не нашего ума подобная забота, на то есть родители, мудрые хозяева жизни, но и они, угадывалось, тоже от чего-то зависели. Мы уж привыкли к тому, что судьба у нас колёсная, чемоданная, и очередное перекочёвывание на новое место жительства принимали как нечто неизбежное, будто смену времён года. Спорить с такой судьбой, казалось, бесполезно, как с регулировщицей на перекрёстке: куда захочет, туда и пошлёт.

Переселение же на Лену из Ставрополя, где нас замучила малярия, где тебе ни зимы, ни коньков, ни леса, ни порядочной реки, было встречено восторженно всеми членами семьи, в особенности же нами, мальчишками. Именно тогда я, десятилетний пацан, умом и сердцем понял и принял повторявшуюся моими близкими истину, что мы – сибиряки, что на юге нам делать нечего, что на родине всё лучше и краше. Похоже было, что власть той таинственной сумасбродки с указательной палочкой в руках наконец-то чудесным образом преодолена, и нам выпало волшебное право действовать по собственному желанию и разумению.

Ох, и опостылела ж нам с братом казачья станица Суворовская близ Пятигорска! Опостылела невыносимо! Мы жили в центре, там, где размещались районные учреждения, школы, магазины, баня, рынок, кинотеатр, а вокруг этого освоенного жизненного пространства все четыре стороны света погрязли в лабиринте бесчисленных улочек с обширными садами и огородами на каждой усадьбе, с пустырями, лужайками и болотцами около речки Кумы. По вечерам все звуки в окрестности глушились со стороны Кумы лягушечьими концертами неимоверной громкости: южные лупоглазые прыгуны – не чета нашим крохотулькам: пузатющие, большеротые, нахальные, что твои свиньи! По первости лягушиный хай мы путали с гомоном гусей. Этих горластых птиц колхозники держали помногу, белыми озерками на яркой зелени травы они долгими летними днями паслись в речной пойме под присмотром ребятишек, но на ночь их загоняли во дворы.

Мы с Гошей чувствовали себя пленниками этого давнишнего, непомерно разросшегося человеческого поселения, где только лягушки да жабы остались неодомашненными, в нас подсудно вызревало стремление вырваться за пределы станицы, попасть в дикую природу и увидеть настоящих зверей, неприрученных птиц. И вот в один прекрасный день тайком набрали из буфета провизии – хлеба и конфет, из тумбочки отца, куда даже матери доступ был строго воспрещён, «позаимствовали» компас, не забыли и спичек прихватить и пустились в неизведанный путь, держа направление к Главному Кавказскому хребту, снежные вершины которого маячили вдали в ясную погоду.

Нелегко нам достался этот поход... Занудливо брехали дворняги, тощие до срамоты (ни кормить, ни держать их на привязи у прижимистых казаков не принято), и, преследуя, норовили цапнуть за ногу. Зловредные передавали нас одна другой по цепочке, в ушах не смолкал их лай, то басовитый, то визгливый, то хриплый, то рокочущий. Да и зной в тот день был не милостивей собак, от него не защитишься палками, а водой мы на беду не запаслись, в горле пересохло, губы от жары запеклись, потрескались.

Когда же, «героически» преодолев трудности, достигли окраины станицы, вместо ожидаемого леса увидели перед собой хлебные поля, уходящие вдаль до самого горизонта. С досады я не удержался и заплакал. Брат обругал меня, конечно, «девочкой-ревелочкой, хныкалкой,

сопелочкой». Вдруг на дороге загромыхала водовозка, вёзшая питьё на полевой стан. Мы бросились наперерез, замахали руками, заорали:

– Дяденька, дай напиток!

Седоусый старикан в соломенной шляпе зачерпнул из бочки воды. Когда утолили жажду, Гоша спросил:

– А лес далеко отсюда?

– Километров сорок, пожалуй. А что?

– Да нет, так, ничего, – промямлили мы и отправились восвояси обратно.

И вот теперь по дороге в родную Сибирь, в вагоне, мы с Гошей взахлёб, перебивая друг друга, восстанавливали в памяти жизнь на северном руднике Согдиогдон, где добывают слюду: как ловили малявок бутылкою, выбив донышко острым камнем, как учились управлять лодкой и зорили вороньи гнёзда, как строили шалаши в лесу и спускались на парашютах, то есть падали с молодых берёз, уцепившись за их вершинки, как пили прохладный березовый сок из берестяных чуманов и лакомились брусникой сразу за школьным огородом. Бессчётно падал я с берёз с обломившейся вершинкой в руках и однажды, приземлившись, ненароком чуть не откусил напрочь пол-языка. Дважды тонул я в Витиме, весной, во время ледохода, и летом: плавал, стоя на доске и толкаясь шестом, скovyрнулся и ушёл под плот!.. Впервые смерть глянула мне в лицо. Я отлично сознавал, что уже через минуту, если оплошаю, стану покойником. Затаив дыхание, быстро плыл во тьме по течению, страшась зацепиться за что-нибудь или удариться головой о бревно. И когда вынырнул с другой стороны плота и увидел солнце, почувствовал себя счастливейшим из людей, вернувшимся с того света!..

Всё теперь вспоминалось с умилением, даже то, как я обморозил пятку, катаясь на коньках, попал под полозья бешено мчавшейся кошёвки (едва успел испугаться и подумать, что руки-ноги мне сейчас переломает, но оказался цел и невредим!), содрал кожу с языка, лизнув заолодевшую дверную ручку, – казалось очень смешным и заманчивым: на Кавказе не обморозишься и под кошёвку не попадёшь, потому что если снег и выпадает ночью, пока завтракаешь, он растает. На родине всё – рай и сказка. Этот рай, невзначай утраченный, нам ужасно хотелось вернуть. И наши ожидания не были обмануты. Отцу, педагогу по профессии, в Иркутском облоно дали назначение в укромный таёжный уголок на берегу Лены.

Встреча человека с Природой – как это важно!.. Рано она произойдёт или поздно?.. Или вообще никогда... Если рано, если она вокруг каждодневно, то человек может и не сознавать, каким сокровищем обладает, и не беречь его, наивно полагая, что в любом случае природа восстановит себя, не оскудеет. А потом, торопливо шагая по жизненным ступеням, уйдёт от неё навсегда в комитеты и кабинеты, в диссертации и симпозиумы и не вспомнит, не поймёт, как много он потерял... Если поздно встретится – яркость впечатлений уже не та, охладевшее сердце не способно горячо любить и пылко отзываться на прекрасное. Можно ли считать, что встретился с природой выехавший на пикничок, пьющий и жующий и скользящий взглядом по «окружающей среде»?.. Для него и солнце красное – бутафория, декорация, интерьер. Счастлив тот, кому родная природа с детства вошла в душу, кто всю жизнь тянется, тоскует, как по матери, по ней, кого не засушили, не поглотили служебные обязанности и житейские тяготы.

Широченный раскат окатанных серых камней и рыжий глинистый бугор Ленского берега, на который мы высадились с парохода ясным солнечным днём в середине лета, запомнились сразу и навсегда. К стопудовым корягам, напоминавшим своими причудливо растопорченными корнями океанских чудищ осьминогов, прилепились связки деревянных лодок, прихваченные цепями, об их потрескавшиеся борта плескались волны и с убаюкивающим хлопаньем замирали. Галечный раскат, полого спускавшийся к реке, протянулся далеко-далеко, будто дорога, и, как всякая дорога, ждал любознательных путников.

Пароход деловито ушлёпал вниз по течению, властно и равнодушно отрезал нас от прошлого, и мы остались одни на пустынном берегу среди груды багажа с тревогой и сомнением,

приживёмся ли здесь, с робкой надеждой на долгое и прочное счастье. Когда пароходный гул затих вдаль, на нас обрушилась тишина, густая тишина малолюдных мест. После многошумных вокзалов, перронов, автобусов, поездов, пароходов это было так неожиданно, так странно, что мы как-то оцепенели. Но постепенно привыкли к тому, что и время здесь течёт по своим часам, не по тем, что в ближайшем городе, и тем более не по тем, где шоссе и железная дорога, время здесь шествует так же величественно и самоуглублённо, как Лена-матушка: «ни зашелохнёт, ни прогремит».

Село Петропавловское – так солидно называлась таёжная деревня, в которой не набиралось и сотни колхозных дворов, где выпало на этот раз, вернее, где мы пожелали теперь жить. Пахотных земель и лугов у колхозов было не вдосталь, поля вплотную подступили к огородам крайних усадеб, однако деревенское раздолье, крестьянская основательность чувствовались во всём: и в широкой валкой походке людей, и в кривизне главной и единственной улицы, и в протяжном утреннем крике пастуха, сопровождаемом щёлканьем бича.

Впрочем, соседние деревеньки, например, Сукнёво, Лыхино, Берендиловка, были намного меньше, пахотными полями и сенокосными угодьями не богаче. Берендиловка сменила нас своим названием: чуть ли не Берендеевка из Берендеева царства!

С внешним миром этот глухой край зимой связывали лошади, летом – река. Когда весной к берегу причаливал первый пароход, вся деревня высыпала на высокий глинистый бугор, словно на массовое гулянье. Вокзал, билеты, плакатные места, контролёры – подобные формальности были как-то не в ходу, на грузовых и грузо-пассажирских ездили, как правило, бесплатно: кругом все свои, знакомые, перезнакомые, стыдно о плате напоминать.

Бывало и так: шлёпает грузовой пароходик мимо села вверх по течению по направлению в районный город Киренск, а старику надобно (100 километров – не ближний свет!) в гости к родне съездить; машет он руками, дескать, посадите, подвезите, всё одно туда же плывёте. Капитан с мостика в рупор отнекивается:

– Некогда, папаша! Да и не имеем права. Грузовой пароход, сам понимаешь!

– Да слышь ты! – напрягаясь, кричит старик. – У меня на «Сталине» сын помкапитаном ходит. Иван Ксенофонович Лыхин, стало быть, аль не знаешь? Неужели своих не посодишь?

Капитан видит, что ничего не поделаешь, сослуживца обидеть нельзя, даёт малый ход, и к берегу легко скользит баркас, залитый варом до черноты, вплотную к берегу баркас не подходит, мелко, кряжистый дед забредает и грузно, с трудом переваливается через борт.

В центре села, недалеко от школы-семилетки, высилась каменная церковь со стенами метровой толщины, давно, конечно, бездействовавшая. Церковь обязательно привлекала внимание проезжавших по реке: громадная, она гордо реяла в небе, господствовала над серым скопищем тесовых крыш и отчётливо выделялась на тёмном фоне дальнего холма пронзительной белизной, – такая опрятная и, можно подумать, довольная собою красавица. Но стоило лишь приблизиться к ней, как сразу становилось видно, до чего она жалкая, истерзанная, словно после долгой и ожесточённой осады: местные рьяные безбожники разрушили колокольню, и бугры кирпичных обломков захламляли церковный двор. Мы, мальчишки, любили играть здесь в чикку, орлянку, бабки, прятки, городки, эти обломки так и просились в руки, чтобы пулять ими по окнам без стёкол, колоннам и стенам храма, на которых живого места не осталось, каждый сантиметр был благословлён попаданием. Однако проникнуть внутрь церкви нам ни разу не удалось: там был склад нездешнего торгового предприятия с непонятным звучным названием – «Холбос».

Высокая церковная ограда из толстых железных прутьев на кирпичном фундаменте местами рухнула, но деревья, посаженные цепочкой по окружности двора, сохранились; во время осеннего массового переселения белок зверьки забегали в деревню и, преследуемые собаками и ребятами, спасались именно здесь, на исполинских елях и лиственницах. Тут же, в углу двора, росла старая раскидистая черёмуха, и мы так любили лакомиться ягодами,

даже недозрелыми, сидя в развилках ветвей, что однажды со мною сделалось плохо: тошнило, давило, перехватывало дыхание; вызвали фельдшера Жаркова, кое-как выходили.

Всё, как нарочно, как по заказу, на Лене было иным. На Кавказе мы за два года так ни разу и не побывали в лесу, не узнали, каков он, тамошний лес, и даже издали его ни одним глазком не увидели. Играть в прятки, в разбойников, в белых и красных приходилось на пустырях, поросших буйной дурниной: лебедой, полынью, чертополохом, крапивой и какими-то зонтичными в рост человека, пустотелые дудки которых отец, за недостатком дров, приспособился сушить под сараем и использовать как топливо. Здесь же, в какую сторону ни повертись, взгляд обязательно упирался в обступившие узкую речную долину холмы и горы, покрытые густыми лесами, богатые, вне сомнений, ягодами, грибами, орехами и разными зверями, промыслять которых, хотелось надеяться, нам посчастливится, – почему бы нет?

В Суворовке, спасаясь от изнуряющей жары, мы целыми днями купались в Куме, столь мелководной, что только в одном омутке было по горло. А тут... Мы зачарованно, не без робости и одновременно с неистовой надеждой взирали на километровую ширь могучей реки, такой красивой, блестящей на солнце, такой спокойной, у берегов совсем стоячей, такой ласковой, живой, доступной. Так бы забрёл в воду и переступал дальше и глубже, дальше и глубже. А что там? А как там?.. Что даст она, река, уже наша, уже родная, уже вошедшая в душу?.. Мы, наверное, научимся плавать, нырять, управлять лодкой, ловить рыбу!.. Ведь не может быть, чтоб в такой большой реке не было рыбы, не зря же вон невод сушится на вешалах. В Куме тоже, кажется, ухитрялась пробавляться рыбёшка, пескарики, что ли, какие-то. Мы с презрительным смехом вспомнили, что один хлопец ловил их ящичком, привязанным к палке. Нет, у нас в Сибири всё будет по-настоящему! Мы с братом были уверены, что нам повезло почти так же отчаянно, как Робинзону.

Откуда эти рыбацкие и охотничьи устремления? Ведь никто нам не подсказывал, не подначивал, ружьями и припасами, рыболовными снастями не снабжал. Всё это возникло само собой, инстинктивно, от далёких предков наших, заядлых охотников и рыбаков, ибо ни отец наш, ни дед в подобных вещах ничего не смыслили. И уже позже, когда мы с братом освоили реку и лес, всегда удивлялись и не понимали, как это и почему это взрослый мужчина не умеет ни утку подстрелить, ни рыбину из реки вытащить. Я до сих пор со снисходительной жалостью и недоумением посматриваю на того, кто не может ельца от хариуса отличить, а ель от пихты.

Виды видами, но для детворы дорого, прежде всего, то, что можно понюхать, потрогать, попробовать. Первым веским доказательством в пользу родной Сибири оказалась обыкновенная картошка. На Кавказе мы попали впросак с этим первейшим, необходимейшим овощем. Посадили два мешка картофеля в полной уверенности, что осенью выкопаем минимум десять-двенадцать. Сначала всё шло как по маслу: дружно взошла зелёная молодь, полезла вверх, ботвища выросла чуть не до пояса. Дивимся. Радуемся. Окучиваем. Надежды самые радужные. Но вот навалился южный зной, какого в Сибири мы не видывали, точнее, не испытывали на собственной шкуре. Это надо понимать буквально, так как босыми ногами нельзя было пройти по голой земле, обжигало ступни. Земля превратилась в раскалённый пепел, кусты картофеля развалились, жалкими обварёнными лохмотьями легли в борозды. На семейном совете решено было спасти посев поливкой, благо колодец недалеко, через дорогу. Однако жажда иссохшей почвы была так велика, а безоблачное южное лето так длительно, что в конце концов пришлось отказаться от бесполезной затеи. Почти всё выгорело, а под уцелевшими кустами мы с изумлением находили заживо испечённые морщинистые картофелины, мягкие и упругие, как резиновые мячики.

В отличие от южной, сибирская картошка оказалась крупной, крепкой, рассыпчатой, а главное, чрезвычайно вкусной, в чём мы удостоверились, когда отцу удалось уговорить некую Христофоровну, согбенную, но могучую старуху, с зобом, огромным, как горб, продать ведро картошки за три рубля, осенью же мешок картофеля не бывал дороже 10 рублей. Дело в том,

что в это время клубни как раз наливаются, продавать по обычной цене – себя обидишь, сбыть втридорога – жадным прослывёшь. Особенно вкусна печёная картошка. Гоша первый вздумал печь её в духовке, и когда мы, обшелушив обгоревшую чёрную плёнку не до самого белого «мяса», а лишь до самовкуснейшей коричневой корочки, стали, обжигаясь, поедать дымящиеся запашистые картофелины, единогласно и восторженно было провозглашено, что Кавказ со всеми яблоками, грушами, сливами и черносливами ничего не стоит противу одной нашей картошки! В охотку мы, дети, так налегали на это блюдо, приготовляемое собственноручно и бесконтрольно, что отказывались даже от обеда, пока не запротестовала мама и пока другие увлечения не захватили нас с подобною же силой.

В пойме речушки Захаровки, впадающей в Лену чуть выше Петропавловска, тянулись в глубь тайги нескончаемые заросли красной и чёрной смородины. Мимо фиолетовых турнепсных «самоваров», мимо зелёных лужков с непременно кустом боярки посредине ходили мы к тенистой извилистой Захаровке, потонувшей в черёмухах и вербах. Чёрной смородины, не рассчитав, приносили столько, что не успевали вовремя перерабатывать и, случалось, валили её, заплесневевшую, соседскому борову вёдрами.

Нам, детям, было очень завлекательно следить, не отрывая глаз, за ходом приготовления варенья. Мы заворожено наблюдали, как кипит сироп, как темнеют опущенные в него ягоды, как клокочет душистое варево, заплывая розовыми легковесными пенками, немедленное поедание которых отнюдь не возбранялось, и нам часто приходило в голову, что как всё же славно устроен мир: не будь в природе этих пенок, разве б дождался, когда варенье будет готово, а раньше времени мать не даст, детские капризы она ублажать не станет.

Показал эти смородинные уголья, на первой же неделе по приезде, соседский парень, здоровущий, улыбчивый. Чёрная смородина была ещё недозрелая, мы собирали красную, по-местному кислицу, а проводник наш просто лакомился и без умолку балабонил о ягодниках и кедрачах, о медведях, сохатых, таймениях – одним словом, играл роль щедрого хозяина, гостеприимно распахнувшего ворота в свой сад перед незваными пришельцами. Мы слушали и умилялись – вот, мол, где идиллия гармоничного единства человека и природы. Однако вскоре были обескуражены: парень вдруг расшалился, с размаху падал на плодоносные кусты, катался, кувыркался, топтал каблуками сапог гроздь ягод и беспрерывно хохотал, хохотал, хохотал!.. Мы с ужасом взирали на него, как на сумасшедшего, но он не унимался, должно быть, хотел показать, что ему как хозяину позволительно безобразничать. Потрясение наше было столь велико, что, вернувшись домой, не рассказали родителям, словно сами были участниками кощунства. Вряд ли что там уцелело от райских смородиновых куц, наверняка дети и внуки того весёлого беззаботного разгильдяя и ему подобных оболтусов вытоптали, выжгли, уничтожили всё дотла. Однако же, следя за трагической гибелью лесов и земель, морей и рек родной страны, отчётливо сознавая, что вина высокообразованных инженеров, профессоров и академиков за разразившуюся экологическую катастрофу в миллион раз больше, я тем не менее, слушая или читая на эту тему, всякий раз вижу того парня-колхозника, самозабвенно сокрушающего смородинные кусты и слышу его глумливый хохот.

Ягодный сезон начинался с земляники на Смольном, куда детвора валила гурьбой, взрослым на подобные пустыки времени доставало. Сладчайшая и ароматнейшая ягода! И не придумать бы, пожалуй, большего наслаждения, чем вылазка на Смольный, если бы мать не обязывала нас собирать ягоду. Стыдно возвращаться домой с неполной, а тем более с пустой посудиною, поэтому мы, хитрые лакомки, наперебой расхватывали кружки и банки, что поменьше, полуторалитровый же эмалированный ковш никто брать не хотел. Нудно до слёз собирать эту редкую прихотливую ягоду, зато перебранная и залитая молоком земляничка – поистине райское кушанье. Уж так во всём: что ценнее, то и достаётся трудней.

Однажды мать вознамерилась пойти с нами, но вопли восторга внезапно оборвались, когда мы увидели у неё в руках ведро, мы взирали на него оторопело, изумлённо, даже, можно

сказать, с ужасом, догадываясь, что придётся наполнять эту совершенно несуразную для земляники тару. Мы хором пытались устранить нависшую над нами опасность и заменить ведро туеском, однако мать перехитрила нас: дескать, из большого не выпадет, сколько наскребётся, столько и ладно.

В лесу же предложила ссыпать добытое в ведро, пояснив, что кружку можно и опрокинуть ненароком, а ведро – оно надёжнее. Опорожненные кружки, как голодные птенцы, вынуждали трудиться вновь, совесть не позволяла беззаботно лакомиться земляничкой на виду у матери, неутомимо ползавшей на коленях. Ягод было уже более полведра, а нам всё не верилось, что можно наполнить его до краёв. Но мать так умело стала подхваливать и подбадривать нас и разжигать дух соревнования, что мы, закусив пересохшие губы, преодолевая усталость, поднажали и добились-таки задуманного ею.

Урочище Смольный назывался так потому, что здесь, на месте вырубленного ядрёного леса, осталось множество смолистых пней, новое же поколение сосняка взялось не чащобно, а впроредь, с бесчисленными проплешинами, а где солнце, там, известно, и ягода. Урочище тянулось от просеки телефонной линии неширокой полосой до Карпухиной чистки.

Дед Карпуха жил на берегу, позадь колхозных конюшен, в избушечке почти игрушечной, не крупнее глинобитной русской печи. Карпуха был худ, высок, слеп, держался очень прямо, как солдат на параде. Мы, мальчишки, всё удивлялись, как он не расшибает голову о потолок: неужели внаклонку дома ходит? Жалели Карпуху, подолгу наблюдали за ним, не решаясь подойти и поговорить, когда он сидел на скамеечке перед ветхой оградкой убогого жилища, грелся на солнце и думал невесёлые думы свои.

Некогда Карпуха на всю округу славился как охотник, хлебопашеством также занимался. Бухгалтер сельпо Зайцев, его племянник, порою брал старика в лес, и тот на ощупь тянул ягоду с кустов, сидя на земле и зажав туесок между коленями. Поговаривали, что бухгалтер не очень-то помогает престарелому родственнику, а в лес берёт с расчётом, Карпуха, мол, хоть и слепой, а на самую лучшую ягоду наведёт.

В Петропавловске всякая ягода, если не считать землянику да смородину, за рекой. Что ни говори, несподручно. Отец задался целью открыть брусничные угодья на нашей стороне и уговорил деда Карпуху помочь в этом деле. В начале сентября, когда заречные боры были уже вычищены жадными совками, отправились мы втроём на поиски богатейших брусничников Красного бора, где, по преданию, всем селом запасались ягодой, пока не погубил всё пожар от незатушенного костра, а случилось это давно, ещё в доколхозные времена.

Дед Карпуха вышагивал не хуже зрячего. Одет он был в грубую шерстяную однорядку бурого, медвежьего цвета и бродни, голенища которых, как у большинства стариков, не были загнуты.

Когда мы проходили мимо его чистки, размером с полгектара, уже изрядно подзаросшей осинником, отец, легко сблизившийся с людьми, общительный, завёл было разговор об этой заброшенной ниве, о том, что сам в двадцатые годы лес под пашню сводил, пни корчевал, землю сохой пахал, сеял вручную, из лукошка, да и хлеб жал серпом, но так и не расшевелил сурового старика, не настроил на воспоминания о прошлом, а так хотелось узнать из первых рук, от самого Карпухи, когда и как он здесь хозяйствовал, что сеял, большие ли урожаи получал.

– Да, было время, ели семя, а теперь сухую корочку грызём, – пословицей отозвался Карпуха и ещё выше вскинул рыжую, клинышком, бородёнку. Говорил он задумчиво, певуче. Я взглянул в белые пропащие глаза старика и почувствовал себя виновным в том, что он слепой. И подосадовал на замкнутость старика. Не пожелал раскрыть нам душу свою, поведать, каким молодцом был в далёкую пору здоровья и силы.

Перелезли через изгородь, отграничивающую поскотину со стороны тайги, и лес сразу показался мне выше и гуще, и подумалось, что тут медведь имеет полное право шугануть нас за

вторжение на его территорию. Дорога травой поросла, а где и мхом заплыла, древесная молодь, осмелев, освоила заскучавший прогал. Всё труднее стало угадывать, где пролегал путь на Красный бор, мы с отцом то и дело рыскали по сторонам в поисках заглухшей дороги, спорили друг с другом.

– Быль быльём поросла, дорога – лесом, – подвёл итог Карпуха. – Зря неча тыркаться, ребята, напрямик пойдёте-ка, однако. Повёртывать никуда не надо.

Старый таёжник и по бездорожью двигался ходко, уверенно, к нашим шагам не прислушивался, ни о чём не спрашивал, и волей-неволей складывалось впечатление, что он и без нас не заплутает, более того, что мы ему не помогаем, а мешаем.

– Наверное, по солнцу ориентируется, – рассуждал отец, – ловит лучи лицом, понимаешь?

– А почему на деревья не натывается?! – недоумевал я. – И не вихляет куда попало. Ты смотри, смотри, идёт как будто зрячий!

Перевалив гору, мы спустились в широкую падь и долго шли по заданному направлению, на запад.

– Дедушка Карпуха, впереди хребет видно! – закричал я.

– Это и есть Красный бор, – молвил слепой проводник.

Бор был на диво чист, светел, величествен, не зря его называли Красным. Брусничник, густой, ровный, высокий, плескал по голенищам ичигов, но был абсолютно пустой. Промаршировали из конца в конец без задержки, только в одном распадочке и наткнулись на курешок с довольно реденькой ягодой и нацарапали кой-как около ведра. Но раздосадованный неудачей Карпуха сразу же повернул назад и, не обращая внимания на наши оклики, ушёл домой один.

Ягодничали зачастую всей семьёй, впятером, вместе с отцом, кроме двух сестёр-малышек, но и без отца мы, дети, одни или с матерью шастали по ближним и дальним ягодным угольям и не переставали дивиться тому, что местные жительницы отличались паническим страхом перед тайгой. По ягоды они отправлялись большими компаниями, с собаками и обязательно прихватывали какого ни на есть мужичонку с ружьём. При этом кто-нибудь потрусоватей шарился весь день как можно ближе к тропе и то и дело подавал сигналы своим, дескать, тут она, тропа, никуда не убежала. Только школьная уборщица Ульяна, широкоплечая и широкоскулая (должно быть, в её родове был эвенк), отваживалась ходить в тайгу одна или во главе баб, за что старухи клеймили Ульяну колдовкой. А страх объясняли тем, что, по преданию, когда-то давным-давно свирепый медведь напал на спавших в шалаше пятерых братьев-охотников и всех их задавил!..

Никто на селе не заготавливал столько ягод, сколько мы. Зимой порою в кухне можно было наблюдать такую сцену: у порога с миской под мышкой стоит малец лет восьми, шмыгает носом.

– Ты чей?

– Таракановский.

– За чем пришёл-то?

– Мамка за брусникой послала. Стёпка у нас шибко хворает, жар у него.

Мать идёт в кладовку, зачерпывает из ящика миску брусники. О плате речи не ведёт. Тараканова могла бы послать со своим сынишкой литра два молока, чтобы не остаться в долгу, но она, по-видимому, считала, что коль скоро они, колхозники, круглый год чертомелют, не грех и даром взять у тех, кто всё лето в лесу в своё удовольствие прохлаждается.

Мы сравнивали таёжные ягодные уголья с южными фруктовыми садами, и сравнение это было не в пользу юга, хотя справедливости ради надо сказать, что баснословно дешёвы там фрукты и овощи. Помню, когда мы приехали с Севера на Украину в 1937 году, в городе Нежине мешок яблок стоил 5 рублей, а помидор с блюдце – одну копейку! Мать на базаре, интересуясь ценами, то и дело восклицала: «Господи, да почему так дешёво?!» Однажды под-

ходит она к старику с четырёхведёрной корзиной огурцов, просит: «Дайте мне на рубль». А тот: «Так вся корзина стоит рубль». Местные покупательницы резонно одёрнули мать: «Кто же на базаре говорит «дёшево»? С луны, что ли, свалилась?» И всё-таки там сады чужие, за забором, ходишь да посматриваешь. К тому же своё, добытое собственным трудом, милее и слаще готовенького, купленного. Но особенно нам нравилось то, что наши таёжные сады, как именно-вала мать ягодные угоды, не огорожены, не считаны, не меряны, нет им предела, привольные, можно сказать, нехоженные края.

Да, нехоженные. Тайга вокруг дремала непотревоженная, непорубленная, без дорог, с редкими полузаросшими тропинками. Да и кто бы, спрашивается, топтал её?.. Не бывало в те годы на Лене никаких изыскательских, топографических, лесоустроительных или геологоразведочных экспедиций. А местные, колхозники, – народ занятой. Когда же, через два года после нашего приезда на Лену, началась война с фашистской Германией и всех здоровых мужиков мобилизовали в армию или на трудовой фронт, тайга в ещё большей степени оказалась предоставленной сама себе. Однако и до войны в нашем Петропавловске, не в пример другим деревням, доброго охотника-зверовика не сыскать было.

Однажды кто-то из белковавших наткнулся на медвежью берлогу. Добывать зверя пошли втроём, два мужика средних лет и председатель колхоза Александр Тимофеевич, отчаянный парень с бравой, офицерской выправкой. Его, не причастного к искусству медвежатников, взяли из уважения, как начальника.

Вытавили хищника из берлоги, и тут произошло неожиданное: те, что выдавали себя за охотников-специалистов, от страха обомлели, стоят чурбанами, глядят, как медведь к ним на задних лапах приближается, а у председателя боёк заело, на ту беду они обильно смазали ружья каким-то скверным маслом, и оно застыло на морозе, щёлк, щёлк – осечка. Выхватил у товарища ружьё, прицелился, нажал на спусковой крючок – такая же петрушка. Медведь меж тем подошёл вплотную, а они перед ним шеренгой навтыжку, будто перед генералом на параде. Стоят, едят друг дружку глазами, а что делать, не знают. Наконец, топтыгин царапнул Александра Тимофеевича за плечо, разодрал телогрейку, рывкнул укоризненно, больно егозливым, дескать, по сравнению с другими, никакого, мол, почтения хозяину тайги, повернулся и побрёл прочь, оглядываясь и обиженно рыча, вроде бы спрашивал, зачем подняли с постели раньше времени, не дали доспать до весны? Дома горе-охотники не удержались, выболтали, как было дело, и над ними лет десять потешалась вся округа.

Ну а грибной сезон – чем он хуже ягодного? И разве грибы – слабое подспорье для большой семьи, в особенности в трудные военные годы? Они растут как раз тогда, когда мяса ни за какие деньги не купишь. Не потому ли мать упорно называла грибы лесным небегущим мясом?

Грибов рождалось несметно много, причём ежегодно. Начинались они в середине лета. Сначала худосочные обабки, краснощёкие подосиновики, позже боровики-сбитни, белые грибы, а на полянах, опушках – гряды маслят. Масляные грибы брали редко, они считались низкосортными грибами, хотя маринованные, в подвале остуженные, они очень даже недурны. Обабки, подосиновики, боровики шли в основном на жарёху. Для приготовления этого изысканного блюда по всем правилам нужно кроме умения терпение, спешка недопустима, иначе желудок расстроится. Экономя дрова, мать кухарничала во дворе на кирпичиках, огонь разводила небольшой, из щепок. Соблазняющие запахи разносились далеко вокруг. Чтоб быстрее прошло время, мы играли в запятнашки и то и дело узнавали, скоро ли ужин. Обычно уже в сумерки пышущая жаром сковорода водружалась на обеденный стол, и жарёху-грибницу съедали с замечательным, неподдельно восторженным аппетитом.

Нанизанные на тонкие палочки грибы сушились на шестке русской печи и откладывались впрок. Как вкусны зимою постные щи с перловой крупой и грибами!

Когда же зябнущая по ночам земля начинала одеваться туманами, из недр её выступали сырые грузди и рыжики. Рыжиков высыпало фантастически густо, под каждой соснушкой гряды, а поскольку семья наша была довольно многолюдной, осенью наш дом на какой-то период (это уже во время войны) превращался в своеобразную промысловую артель: в бочках вымачиваются грибы, с тем чтобы легче и быстрее отмыть, отхлопать от земли и хвоинок, а мы уже тащим из лесу свежую партию, начинается сортировка-выбраковка, засучиваются рукава, сверкают ножи, хрустят черешки, хлопает и льётся вода. Сдавать в сельпо возили ящиками, бочками на двухколёсной тележке, заработанное тут же отоваривалось хлебом, мылом, обувью, тканями.

Осенью и в первой половине зимы, реже – летом (потому что добыча на жаре быстро протухает) ловили мы с Гошей зайцев, или ушканов, как их здесь называли. Наука вроде бы нехитрая: найди заячий ход да насторожи проволочную петлю. Однако без смекалки ни в каком деле, а тем более в охотничьем, не обойтись. Летней порой невнимательный и тропу-то ушканью не сыщет, будет стоять на ней, но не увидит. Ну, нашел ты ее, еле видимую глазом, вихлястую дорожку, а дальше что?..

Петлю ставишь не абы где, не в редняке, конечно, а в чаще, в такой, желательно, чаще, чтоб ветки деревьев обок и по-над тропкою непробивно смыкались, заяц там несется, прижав уши, будто по туннелю, не вильнуть ему вбок, не углядеть в тесноте и сумраке коварную проволоку. А вот, к примеру, сучкастая лесина, бурей поваленная, над тропинкою низко повисла или, смотришь, ушканий путь пролегает сквозь поскотинную изгородь, между жердями – всё это явные находки для цепко-прикидистого охотничьего глаза: в узком пролазе наверняка перехитришь, заарканишь длинноухого. Но не всякий ушкан, что затащил на себе петлю, достаётся охотнику: зверьки нередко обрывали петли.

Когда ушкан забуровится в петлю, он дёргается остервенело, до тех пор пока не удушится или проволоку не порвёт. Мне привелось однажды увидеть, как это происходит. Иду я лесной дорогой в дремуче-густом ельнике, что возле речки Захаровки, проверяю свои ловушки, а в ельнике глухо, тихо, нежарко, маленькая травка гасит шорох моих шагов. Тропы лопухих грызунов тут из года в год одни и те же – прямые, торные, хорошо заметные, прямо-таки магистраль зайчи. Вдруг справа, в чаще, послышался шум, топот, я вмиг замер, и на дорогу прямо передо мной, хоть впору кепкой попадай в него, выкатился матёрый зайчина. Увидев меня, зверь не поворотил назад, а прирезал ещё быстрее по тропке, навстречу терпеливо стерегущей его безжалостной петле. И вот уже он бьётся на проволоке изо всех своих силёнок, ужасаясь тому, что сзади с треском бежит кто-то большой и страшный. Не подоспей я вовремя, бедолаге пришёл бы конец.

Случалось, в петлю попадал настолько умный зайчишка, что и не думал рваться до потери сознания, нет, он преспокойнейше сидел, поджидал охотника. Таких молодцов мы сажали в мешок и приносили в деревню. Каждую зиму у нас в доме жил заяц, пока не догадывался удрать на волю в приоткрытую по оплошности дверь.

Лишь один-единственный раз в такую немудрящую снасть затесалась лисица, в погоне за зайцами хищница пользуется их же маршрутами. Перекусить проволоку не удалось, сталь не по зубам, и хитроумная лисичка-сестричка сообразила, что надо грызть то, за что петля привязана. Только в запале плутовка не могла определить, к какой соснушке прикреплен удавка, и принялась перегрызать подряд все деревца, что росли в пределах досягаемости. На её счастье, сосняк там был, как конопля, – частый и тонкий. Вместо лисицы я увидел в гущине мелколеся полянку и сосёнки, срезанные под корешок. Уж и пожалел я тогда, подосадовал, что петля была простая, а не подвесная. Подвесная – это когда проволока привязывается к жерди, пригнутой через рогульку к земле; попавшийся ушкан срывает насторожку, комель жерди падает на землю, вершинка же, наоборот, взмывает вверх – и бедняга косой оказывается повешенным.

Охотничать, выходит, можно и без ружья, было б время да желание, да старание.

Пробовали мы отлавливать зайцев и капканами, а также древним испытанным способом таёжников – пастями, кулёмками, это зимой, само собой разумеется, по снегу, на широких камасных лыжах. Хороши деревянные ловушки, безотказны, часто проверять их не надо, только много работы с ними, покопаешься, помахашь топором, прежде чем хоть одну настроишь, а петель за день можно несколько десятков поставить. Но в зимнюю пору надо обязательно чистить петли пеплом до блеска, иначе ушкан на самом резвом скаку успеет заметить в ночи на белом фоне снега тонюсенькую чёрную проволочку и, едва не коснувшись грудью, остановится перед петлёй-обманщицей, осмотрит её внимательнейшим образом, понюхает, быть может, даже потрогает усами, обойдёт стороной и вновь помчится со скоростью ветра по той же тропочке дальше.

Забегая вперёд скажу, что лишь в самом начале мы с братом промышляли зайцев вместе, после же, а тем более тогда, когда Гоша стал работать монтером-связистом и по долгу службы совершал обходы своего участка телеграфной линии, управлялись в одиночку и даже поругивались, деля звериные угоды, соревновались друг с другом. Ближние к Петропавловску леса отошли мне, а всё пространство от Смольного и до самой Березовки – ему. Просека телеграфной линии шла холмами, по лесу, поэтому служебные обязанности нисколько не мешали брату «произвести учёт» вспугнутого выводка рябчиков, подстрелить застрекотавшую невдалеке белку, проверить ловушки на зайцев.

Не счесть быстроногих ушканов, отловленных нами, юными охотниками, в те далёкие славные годы, не счесть обедов из духовитой, но постной зайчатины, для сытости сдобренной свининой, что перебивало за нашим столом. Но тот пасмурный день в начале зимы, когда первый нежный снег ещё не огрублён свирепой северной стужей, мне запомнился навсегда, как исключительный, редкостный: я еле тащил мешок с промёрзлыми негнущимися тушками зайцев, пять штук зараз, причём один из них, снятый с самой последней петли, живой!

Невыделанные шкурки валялись на вышке и в амбаре, пропадали зря, не находилось им применения, по причине непрочности мездры. Правда, Анне, старшей сестре, мама как-то взялась и сшила шапку с длинными ушами. Зато на высушенные задние заячьи лапки был устойчивый спрос: они считались наилучшей метёлкой для подбирания муки во время стряпни. Мать снабдила ими многих знакомых женщин, в деревне ведь каждая хозяйка – стряпуха, в каждом доме русская печь, о которой ныне городские жители и понятия-то не имеют.

Так что мечты о жизни в тайге и охоте на диких зверей, можно считать, вполне осуществились, только добываемое нами зверьё не поставить в один ряд, например, с сохатыми, тем не менее нас, юных промысловиков, это нисколько не удручало: дайте срок, дойдёт черёд и до медведей, никуда они от нас не денутся!..

Но главной страстью в нашей жизни, и мы инстинктивно предугадывали, предчувствовали это с самого начала, как высадились с парохода, стала рыбалка. С первых же дней, обзаведясь удочками, мы с братом потянулись на реку.

Однако добыть рыбу даже в такой полноводной реке, как Лена, оказалось делом непростым. Правда, гальяны клевали с большой охотой повсюду, особенно около села. Это бесцешуйная рыбёшка величиной с палец взрослого человека. Их и в окрестных озёрах гомозилась тьма-тьмушая, только там они бывали пузатей, ослизлей и окрасом темнее, а речные тощие: им ведь с течением приходится бороться. Жареные гальяны, на мой взгляд, неплохое блюдо, во всяком случае, намного лучше карася, у того рёбра да голова, а где и уколупнёшь кусочек, так не отплюёшься: всё пронизано костями. Однако у местных жителей бытовало твёрдое убеждение, что гальян – не рыба, что уважающий себя человек гальянов есть не станет. Кормить свинью, кур, собаку – пожалуйста, но самому – ни боже мой!

Порою рыболов, выдернув удочку, вскрикивал с досадой: «Опять гальян!» – и, в отчаянии, не желая отцеплять, частыми взмахами яростно хлестал его о камни.

– Не изгаляйся! – одёргивали его товарищи. – Рыба осердится, не будет клевать!

– И не надо такой рыбы! Опротивели эти проклятые гальяны! – плакался бедняга рыболов.

В первое лето и мы с братом выпили горькую чашу этой неблагодарной рыбалки: на наши крючки попадались только гальяны, мать отказывалась их готовить, потому что у местных рыбаков можно было купить кое-что получше. Позже нам гальяны служили живцами, то есть наживкой на крупную рыбу.

Как сейчас, помню свою первую рыбацкую удачу, своего первого ельца. Я удил с маленького плотика, приткнутого к берегу. Орава босоногих мальчишек промышляла тут же, кто с берега, кто с вытасненной на сушу лишь наполовину лодки забросил в речку простейшую рыболовную снасть, без разноцветного яркого поплавка, без свинцового грузила; это сейчас в магазине такое богатство, что глаза разбегутся: изящные бамбуковые удилища, тончайшие, невидимые в воде полиамидные лески, любого размера крючки, поплавки всех цветов радуги, – подумаешь, подумаешь, что бы взять, да так ничего и не купишь, потому что рыбы-то нет, клевать-то некому!..

Гальян берёт упрощённо, сильно, грубо, а тут кто-то клюнул поделикатней, леска, разрезая воду, напористо побежала вверх и вглубь. Рванул на себя удилище – что-то блестящее, красивое взвилось над головой и полетело через плотик на камни. Я не успел сообразить, что произошло, как услышал восторженный возглас пацанов: «Елец!» А он уже трепыхался на гальке, серебристый, белобрюхий, темнолобый, и хватал в недоумении воздух аккуратным маленьким ртом. Я бережно, чтоб не сорвать чешую, освободил от крючка рыбёшку, совершенно опьянённый фартом, завистливыми взглядами и восклицаниями ребят.

Это был едва ли не единственный мой елец в первое лето. Позже ельцы стали для нас довольно частым, обычным уловом.

Чтобы рассказать о рыбалке на Лене, о многообразных способах и всех прелестях её, надо начать, по-видимому, с ледохода. Грандиозное, величественное, незабываемое зрелище – ледоход на Лене в среднем её течении. Позже, живя в Якутске, я однажды отправился с товарищами смотреть ледоход, но остался разочарованным: изъеденные водой, искрошившиеся мелкие льдины затерянно белелись кое-где в необозримом разливе половодья.

– Где же ледоход?! – вскричал я с досадой. Товарищи недоумённо пожали плечами: чего, мол, тебе ещё надо? Я печально покачал головой, вздохнул и отвернулся: разве объяснишь, что такое настоящий ледоход! Это надо самому увидеть.

С ледоходом у меня связаны яркие впечатления ещё более раннего периода, витимского. Мощное течение Витима слегка подпруживало ледяным затором как раз около посёлка, свободный проход на середине реки то заклинивало ненадолго, то снова разбуравливало, уровень воды в этом гигантском дырчатом мешке беспрестанно менялся, гряды валунов то охватывало водою и таранило льдами, то опять оставляло на сухом берегу. Нам, малышам, было забавно попрыгать «на островах», а потом вернуться на материк. На таком валуне и остался в одиночестве я, шестилетний папанинец, не предугадав ухудшения ледовой обстановки. Вначале я надеялся, что вода рано или поздно схлынет, потом испугался и не знал, что делать. Растерявшиеся товарищи, пока около камня было мелко, кричали: «Прыгай!» Потом замолкли и с ужасом взирали, как ежесекундно прибывает вода, как надвигаются, зловеще шурша, льдины. Вдруг с бугра, откуда взрослые наблюдали ледоход, сбежал учитель Григорий Дмитриевич и кинулся в студёную воду спасать меня, я прыгнул навстречу ему...

Вся деревня выходит на берег, как на праздник, смотреть ледоход. Взрослые на бугре, сухом, утоптанном, словно танцевальный круг, а детвора внизу, около воды, вблизи льдов толчётся, просто созерцать – это ее не устраивает, хочется принять участие в событиях. Старики курят самосад и рассказывают про добрые старые времена, когда половодья бывали сердитые, не то что ныне, прополаскивало иные деревни так, что не только навоз и мусор, но и амбары, изгороди, дома уносило бог весть куда, целые деревни срезало льдами с лица земли. Особенно

забавлял слушателей рассказ об одном старике, который понадеялся на авось, не успел заранее со скотом и пожитками убраться на ближайший холм и проплыл двести километров на крыше своей избы, выброшенной в конце концов смилостивившейся Леной в какой-то деревне в целости и сохранности.

Невозможно глаз оторвать от этого увлекательнейшего зрелища. Часами стояли на берегу люди и не уставали с живейшим интересом следить, как стремительно прут нескончаемой чередой льдины, белые, зеленоватые, с голубым оттенком – разные. И так спешат, так спешат все, что легко можно вообразить, будто это колонна живых существ, понимающих, что их спасение только в Ледовитом океане. Вот одна льдина призадержалась самую чуточку, но соседям ждать недосуг, они злятся и крушат с шумом её края, отталкивают или подминают под себя. Если же льдина крупная, то задние, наскочив, встают на дыбы и падают на неё или перевёртываются навзничь, а она, зажата со всех сторон, звонко лопается, чёрные трещины запросто раскраивают белую пластину на несколько кусков. Похоже, что ученик балуется с чистым листом бумаги, как хочет, так и черкает карандашом. Порою льдины начинают вдруг напирать на берег. Со звоном, скрежетом, вспахивая каменистую почву, лезет... не льдина, конечно, нет, грозно лезет зловеще-зеленоватый морж, кровожадный крокодил лезет! А на нём едет (успел, шельмец, воспользоваться чрезвычайным моментом!) лёгкий, как воробышек, мальчишка, смеётся и жестикулирует, а в глазах восторг, удаль, торжество.

Чёрная точка на одном из ледяных полей, замеченная издали, тотчас приковывала внимание публики, принимались гадать и спорить, что бы это могло быть: человек, медведь или лодка. Всем хотелось быть зрителями чего-либо необычайного, приключенческого, но загадочный предмет оказывался просто корягой или кучей навоза.

Сразу за деревней, ниже по течению, бой воды и льдов устремлялся в обрывистый земляной берег. Чем сильнее напор льдов, тем чаще земляные глыбы, подрезанные снизу, тяжело обрушивались в мутную воду и с всплеском исчезали в глубине.

– Ухни туда – и всё, крышка, уже не выберешься! – лихорадочно сверкая глазами, твердили мы друг другу.

Смотришь, ещё один кусок землицы с увядшей прошлогодней травой отмежевался от родного массива дугообразной трещиной. Занятно и страшно было вскочить на обречённую кромку и тотчас отпрыгнуть назад, опасность пугала и манила, звала поиграть с ней.

А напротив без малого до середины реки протянулась длиннейшая галечная коса, скрытая полый водой, но льды уже натолкнулись на неё, застряли, на них полезли задние, а сверху третий и четвёртый слой, ещё и ещё. По всей косе полуторакилометровой длины нагромождались торосы в два-три человеческих роста. Оттуда доносился грозный грохот и треск, вроде бы скрежет танков и выстрелы орудий. Напрягая зрение, мы следили за ходом «ледового побоища», досадуя, что нельзя подобраться ближе и увидеть всё это во всех подробностях.

Отгрохочет былинный ледоход, проплывут молчаливо последние редкие группы льдин – это уже, так сказать, обоз, тылы великой армии Деда Мороза, но еще долго, почти до июня, будет загромождать местами подступы к реке поверженное воинство убежавшей зимы, со стеклянным звоном будут рушиться ледяные глыбы, рассыпаться на охапки длинных голубоватых игл, печально истекать ручейками разнеживающей мятной влаги. Занятно ребятам лазить по непрочным этим баррикадам, съедаям ярим весенним солнцем, и помогать ему, солнцу, в меру своих сил. Сколько смеху, сколько радости доставляло нам свалить наземь высоко зависшую льдину и самим «проехаться» на ней! Сосание «ледяных конфет» при этом считалось обязательным, непременно наслаждением, вопреки родительским наказам не студить горло. Ну как же не полакомиться даровым угощением, слаще всякого лимонада?!

Ледоход возвещает наступление нового этапа в жизни природы и человека, он смело, резко подводит черту под зимой. Но, опережая ледоход, на оттаявших наполовину озёрах, на

лужах талой воды среди лугов и жнивья закрикали вечером перелётные утки, наступил горячий сезон для охотников.

На второе лето нашего жительства в Петропавловске отец купил нам по дешёвке с рук одноствольное ружьишко двадцатого калибра с десятком-другим стареньких гильз. Изъеденное раковинами, отслужившее свой срок, ружьё вряд ли удовлетворило бы взыскательного, уважающего себя охотника, но мы с братом были без памяти и от этого.

Боже, сколько вёрст мы избраживали по раскисшим от воды полям, лугам, болотам! Сколько тёплых вечеров, сколько холодных рассветов провели у проток, луж, озёр, – усталые, мокрые, озябшие!.. Добывать дичь удавалось редко, да и то не мне. Стрелял обычно брат, а я довольствовался тем, что подгонял к нему уток или просто «болел», помогал искать подранка.

На первых порах поддержать в руках оружие для меня уже было счастьем. Лишь выйдем за деревню, я забираю у брата ружьё и, со священным трепетом сжимая его, строевым шагом «иду в психическую атаку», дурачусь. До первого озера, на котором могут быть утки, ружьё моё. Это уж позже я завоевал право охотиться самостоятельно.

Идём, а над нами, с характерным свистом рассекая воздух, проносятся косяки уток, мы же только слюнки глотаем: стрелять влёт тогда ещё не научились. Потом тихим вечером на озере отбиваемся от комаров, поджидаем уток, разбросав макеты близ берега, крикаем в кулак, ибо иных манков в заведении не было. Я настолько бывал возбуждён утиным сезоном, что от скрипа немазаной колхозной таратайки, донёсшегося с улицы, подпрыгивал, как от удара электрическим током: мне всюду мерещилось молодецкое кряканье селезня.

С охоты возвращались усталые до изнеможения и такие голодные, что словами не выразить. Редкая мизерная добыча, если подсчитать, ни в коей мере не возместила бы тех сил, тех калорий, что мы щедро теряли по утрам и вечерам в окрестностях села. Но тёмный силуэт утки на светлой поверхности озера так и стоял всегда перед глазами и заставлял нас вновь и вновь колесить по полям. Поистине охота пуще неволи! Помнится, в ту пору более всего я любил рисовать партизан-лыжников, нападающих на немецкий обоз, и охотника, подкрадывающегося к утке.

Прочитав в районной газете объявление о наборе студентов в Бодайбинский геологоразведочный техникум, я вознамерился, окончив семилетку, поступить туда, чтобы всегда быть в тайге и невозбранно охотиться и рыбачить. «Так ты с какой целью хочешь геологом стать, чтобы полезные ископаемые искать или рябчиков гонять?» – спрашивали, смеясь, родители. «Главное, конечно, охота и рыбалка, рябчики и хайрузы, а разведка земных недр – это так, между прочим», – бредил я. «Нехорошо, некрасиво обманывать государство, – урезонивали они меня. – Где же твоя совесть?» Устыдившись, я выбросил из головы геологию.

Свою первую утку я добыл так: возвращаюсь с охоты пустой. Уже стемнело. Иду полем. Деревня близко. Вдруг в стороне закрикали утки. Озерков тут поблизости не было, видимо, табун заночевал на жнивье около лужи, во впадине, где за зиму наметает целые бугры снега. Тронулся на звук. Утки забеспокоились: грубая пружинистая стерня шуршит, хрустит под башмаками немилосердно.

Я лёг и пополз. Утки успокоились, но ненадолго: бесшумно передвигаться не удавалось. Всё ближе и тревожнее гомон табуна. Сейчас взлетят – и всё кончено. Взглянул перед собой – на белом фоне снежного сугроба отчётливо прорисовывались чёрные силуэты уток. Нечего было и думать целиться, искать мушку, я просто направил туда ствол ружья и бабахнул.

Сноп огня полыхнул из дула в чёрную ночь. Неудержимая сила подбросила меня и повлекла вперёд, вслед за выстрелом. Я бежал, а шум снявшегося табуна затихал вдали, шум, сопровождаемый ритмично-прерывистым писком, напоминающим радиопозывные звуки.

Вот светлая пластина лужи, здесь только что жировали, копались, чистились, прихорашивались утки, крупные, судя по мощному шуму при взлёте; здесь, здесь, где ступает моя нога, каждый сантиметр вязкой почвы прощупан их жадными клювами в поисках корма, они

егозились, задевали друг дружку, устраивались поудобнее на ночлег, им было тесно, их было много... Именно то, что птиц было много, и всё это множество умчалось, недостижимое, неуловимое, унеслось в свисте крыльев, в чудо-свисте, не оставило мне ничего, – казалось такой вопиющей несправедливостью, какую человеческое сердце не в силах перенести. Мне даже мерещилось, что я улавливаю запах уток, накопившийся тут в ночном застоялом воздухе. Я готов был завывать по-волчьи от сумасшедшей неудовлетворённости, я готов был, кажется, в отчаянии вцепиться зубами в собственную руку и грызть её, терзать её по-звериному, но вдруг... на другой стороне лужи что-то затрепыхалось! Я бросился, не разбирая дороги, через лужу – и в моих руках очутилась кряква, бестолково мотавшая то и дело сникающей головой. Позже, уже дома, выяснилось, что в неё попала одна-единственная дробинка и перебила ей шею. Восторг переполнял всё моё существо. Я охотник! Я мужчина! Я возвращаюсь с охоты домой, и богатая ценная добыча оттягивает мне руку!..

Охота на ондатру, в отличие от утиной, была исключительно простой: приходишь вечером на озеро, умащиваешься на кочку или валёжину поближе к воде и посиживаешь себе, от нечего делать наблюдая, как розовеет, будто праздничный крем, последняя льдина на середине озера под лучами заходящего солнца. Но вот солнце село, помаленьку тускнеет закат, льдина мертвенно и скорбно белеет и, похоже, выгибается горбом на потемневшей воде. Ни звука на озере, но не надо нервничать, водяной народец не высунется раньше сумерек.

Ага, наконец-то, поплыли!.. Одна, другая, третья. Бесшумно бороздят стоячую воду живые «кораблики», шуршат в береговой осоке, корм ищут. Наклоняешься головой к земле, чтоб отсвет с небосвода упал на воду, и недовольно отворачиваешься: нет, не то! Просто водяные крысы. Если глаз намётан, ондатру от крысы отличить с полвзгляда: у плывущей ондатры голова высоко поднята над водой, у крысы – наравне с туловищем, да и плывёт ондатра, как реактивная, так и режет озёрную гладь, так и гонит волну.

Подождёшь, когда она подплывёт поближе к берегу, чтоб достать палкой можно было, да и шарахнешь. Если попал, волчком закрутится, пока не застынет, если промазал, вскинет высоко зад, торчмя станет и в тот же миг уйдет вглубь. Но мазать нельзя, потому что за один вечер удаётся выстреливать только один раз: зверьки прячутся. Домой несёшь добытую ондатру за чешуйчатый хвост, похожий на змею, и руки потом долго хранят одеколонный запах.

Шкурки обезжиривали, обрабатывали мездру простоквашей, а мама из них шила нам шапки – красивые, тёплые, ноские.

В увлечении охотой много героического, мужественного, партизаны небось и воевали с охотничьими ружьями, значит, охотник, если понадобится, станет умелым, примерным воином. И чистое такое, благородное, аксаковско-тургеневское занятие, пиф-паф – и пожалуйста, без лишней возни получай «ягдташ с битой птицей». Уж очень мне нравилось это выражение, словно припев полюбившейся песенки, и я к месту и не к месту твердил его, как заклинание, даже просил мать сшить ягдташ, но она, смеясь, резонно заметила, что не стоит зря трудиться, ваш ягдташ, мол, всегда будет пустёхонький.

Справедливости ради надо сказать, что всё ж таки стреляли мы кроме уток и ондатры рябчиков, обычно осенью, полярных куропаток и белок – зимой, однако, мало было проку от нашей ружейной охоты, редка удача. Оправдывалась старая поговорка, что у рыбака голы бока, зато обед царский, у охотника дым густой, да обед пустой. А сухая ложка, как известно, рот дерёт. Потому-то рыбалка, не менее увлекательная, чем охота, но более отзывчивая на любовь к ней, в нашей ребячьей жизни занимала первое место.

* * *

Прелесть рыбалки заключается не только в самом процессе ловли, нет, всё, что относится к ней, все этапы подготовки интересны, полны наслаждения. Готовых рыболовных снастей в те

времена негде было купить, мы их изготавливали своими руками. Шнур перемёта скручивали из толстых белых нитей, употребляемых для вязки неводов, поводки для закидушек сучили из швейных ниток десятого номера. С упоением, мечтая о добыче, крепишь крючки к поводкам, навешиваешь их на леску, выстрагиваешь дощечки для наматывания перемётов.

Сколько трогательных, глубоко задевающих душу, сладких мгновений испытаете весной, когда развяжете кулёк с рыболовными припасами и выложите грошовой богатство своё: полусгнившие закидушки, крючки в спичечных коробках, свинцульки, мотки ниток!.. Я до бесконечности готов был копаться в таких примитивных снастях. Не дай бог потревожить, оторвать от этого священнодействия размечтавшегося, погружённого в воспоминания рыболова! Разве можно оставить подобные сокровища посреди комнаты на произвол судьбы?! Вдруг зайдут сестрёнки – они же всё своротят, запутают, растяпы и вреднюли!

А добывание червей! Весной, пока огороды не вспаханы, красотища, раздолье, копай, сколько нужно, на своём или на школьном, или на колхозном огороде. Во время пахоты можно даже сделать запас. Зато после приходится на задах деревни резать дёрн возле ямы, где добывали глину, или подле изгородей изыскивать их, или забираться под крыльцо, или бродить по выгону: как увидишь коровий шевяк, считай, что на одного червяка у тебя в банке больше стало. Отвернёшь «каравай», а червяк нырк в землю! Тут уж не зевай, быстрёхонько р-раз лопатой! Отрежь добрый ломоть дерновины и раздербанивай спокойно, покуда меж двумя разломанными кусками не потянется красновато-коричневая упругая нить. Ага, попался, миленький! Лезь в банку! Елец давно по тебе скучает. Осенью неплохо добывалось на овине, под слоями сырой перепревшей соломы. Черви там бывали, как на подбор, крупные, чистые, ленивые – это они к зимней спячке приготовились.

* * *

Сразу после ледохода начинался клёв ерша и налима. Налим брал везде, в том числе около села в громадном улове, вместо которого с убылью воды появлялась очень длинная дугообразная старица, соединённая с рекой в нижней части. Здесь и корягой не зацепит, и наносным хламом крючки с наживкой не забьёт.

Наживишь дождевых червей, какие покрупнее, и опустишь перемёт на дно, камень на одном конце, камень на другом, без всякого наплава, конечно, иначе плывущим лесом утащит. Чтоб не потерять снасть, замечаешь и запоминаешь ориентиры на той и другой стороне реки. А утром один направляет лодку поперёк хребтовины перемёта, другой держит в руке шнур якорька, называемого ещё кошкой, и слушает, как он царапает по дну. Лишь только появится ощущение, что якорёк схватился за что-то упругое, не сомневайся: это перемёт, тащи его на поверхность, выбирай налимов. Если якорёк остановился намертво – знай: за корягу задел. Тяни изо всех сил, чтоб разогнуть зубья его, а когда выручишь, поправь зубья и бросай сызнава.

Еще проще ловить ершей. Мы с братом не унижались до этого. Мелюзгу ершовую ловили ребяташки, как на подбор, самые мелюзгинные. Невозможно без смеха наблюдать за этой, с позволения сказать, рыбалкой. Представьте себе на береговой утоптанной полосе разномастно, плохо одетую, босую, непокрытоголовую детвору, хлюпающую простуженными носами, занимающую друг у дружки по червяку до завтра, поддёргивающую короткие штанишки; представьте себе их промысловое оснащение в виде метровой хворостинки и такой же нитки с крючком и камешком на конце. У ног ребятни непроницаемо мутная, как кофе, вода с плывущим мусором, палками, поленьями. И как только камешек утопит крючок, червяком наживлённый, уже слышны и видны робкие подёргивания. Без всяких подсеканий и прочих премудростей четырёхлетний рыбациска поднимает хворостину – и вот он, пожалуйста, на ниточке слабо извивается, растопылив все свои колючие иголки и пёрышки, серый ёршик вершковской величины. Один крючок – один ёршик, два крючка – два ерша. Исключений из

этого правила не бывает. Далеко забросишь удочку или близко, не имеет значения. И невольно складывается впечатление, что вся река километровой ширины до отказа начинена ершами, как морковная грядка морковью.

После 20 мая начинался клёв ельца – настоящая страда наша. Но эта страда совпадала с другой страдой: в школе начинались экзамены. Родители отпускали нас на рыбалку с условием, что мы в свободное время будем усиленно готовиться к экзаменам. Но наука в голову не лезет, когда кругом столько интересного, соблазнительного: и гладкие глянцеви́то блестящие прутья ивняка, из которых можно сделать великолепную плётку, и костёр с пекущейся в нём картошкой, и рассказы про «огромного» тайменя.

Обо мне родители не беспокоились: я не признавал иных оценок, кроме пятёрок; мне так понравилась «Похвальная грамота», с золотым ободком и портретами вождей, полученная в первом классе, так щекотала самолюбие мысль, что сама Москва, само правительство награждает меня, что я задался целью накопить этих грамот ко времени окончания школы не менее десяти штук. В течение зимы я учился столь прилежно, что никакой подготовки к экзаменам, собственно, и не требовалось: весь пройденный за год учебный материал я уже знал назубок.

Брат же, будучи способным, ленился учиться. Без контроля, без пригрозки ничего не получалось. Стыдили и ставили в пример меня, но понапрасну: к славе отличников Гоша оставался равнодушен. Дневник его пестрел тройками, а двойка была неприятна ему лишь потому, что вызывала очередную головомойку.

Гоша с детства отличался сонливостью. По утрам стоило больших усилий добудиться его и отправить в школу: уже растормошённый, уже сидящий (вернее, насильно посаженный) в кровати и уверяющий, что проснулся, засоня, как только его оставляли в покое, мгновенно падал и засыпал в неловкой позе, с босыми ногами, спущенными на холодный пол. И если не подталкивать и не покрикивать ежесекундно, мог отключиться даже после того, как натянул на себя штаны и рубаху. В семье жило анекдотическое воспоминание о случае, когда Гоша уснул, зашнуровывая свои ботинки. А вот на охоту или рыбалку его не надо было будить, сам вставал чуть свет.

Излюбленные мальчишьи рыболовные местечки – у Маяка и Зуевой Дырки. Белые щиты перевальных знаков, на которых с наступлением темноты бакенщик зажигал огни, стояли чуть выше устья Захаровки на весёленькой поляне. Зуева же Дырка находилась в километре от села ниже по течению реки, там, где кончалась узкая береговая луговина и начинался обширный ивовый лес. Названием местечко было обязано еврашкам, зуйкам, испещрившим почву своими норами.

Народу тут собиралось много, никто не скучал, рыбная ловля сочеталась со всевозможными иными развлечениями и проказами, промысловый азарт был лишь предлогом для шумных сборищ, нам с братом это не нравилось, нас обуревали самые серьёзные, более того, неистовые намерения стать взаправдашними добытчиками, которых домашние встречали бы не кривыми ухмылочками и ироническими шуточками о кошкином ужине, а с почтительным нетерпением: ну, чем нас сегодня кормильцы порадуют?

Длителен и мучителен был этот начальный предстартовый период, период накопления самых элементарных знаний, навыков и обзаведения орудиями лова. Первыми учителями в этом деле стали Петька и Толька Жарковы, сыновья фельдшера, маленького, но очень плотно сложенного, самого уважаемого в округе человека.

Школьный дом, который предоставили нам под жильё, стоял как раз рядом с больницей, и наша семья сразу же по приезде познакомилась, а потом и сдружилась с Жарковыми. Фельдшер и его жена оказались простыми добрыми и гостеприимными людьми, а Петька с Толиком были такими же, как мы с братом, непоседливыми, весёлыми, смекалистыми пацанами. Мы часто собирались и играли вчетвером, на коньках катались, крепости из снеговых глыб

строили, до упаду пушили друг в дружку снежками, вылазки в лес устраивали. Именно братья Жарковы научили нас охотиться на зайцев.

Особенно дружны, неразлучны были мы с Петькой. Учились в одном классе и настояли, чтобы сидеть за одной партой, даже уроки вместе готовили. Более впечатлительный, чем брат, я надоедал домашним бесконечными восхвалениями своего Петьки, втолковывая на тысячу ладов, что лучшего человека на свете не было и нет.

Мне так хотелось, чтобы у нас с Петькой всё было общее, что я опрометчиво попытался привлечь его к сочинению стихов для школьной стенгазеты, показывал ему письма из редакции «Пионерской правды», с которой переписывался: там считали, будто бы у меня есть поэтические способности и советовали развивать их. Однако со стихотворством у моего друга дело не клеилось: ни с размером, ни с рифмой он не мог сладить, это огорчало нас обоих, только по-разному: Петька стал втайне завидовать мне.

Братьям Жарковым доставляло немалое удовольствие вводить нас, несведущих пришельцев, в курс дела, рассказывать взахлёб, сколько у них сетей, ряжей, перемётов, как и сколько они добывают и засаливают рыбы. Нам, правда, обидно было, что ребята не уговорят отца взять нас с собой хоть разок на рыбалку.

В весеннее время, когда подтощавшая за зиму рыба валом валит вместе с полой водой в заливы и курьи, Жарковы вылавливали её пудами, центнерами. Они ставили сети в Зуевской старице, тянувшейся почти от самой Зуевой Дырки до Сукнёвской протоки, то есть четыре километра, одним словом, ребята вместе с отцом занимались серьёзным промыслом, если же кто из них в это время и появлялся в ребячьей компании, то лишь по пути в деревню: не было смысла ежедневно гонять лодку домой против бешеного течения, они прятали её в кустах и возвращались пешком.

Вся наша удочно-закидушечная рыбалка казалась им детским лепетом, но почему бы не посидеть у костра, не повозиться, не побороться? Боролся Петька мастерски, гибкий и ловкий, что соболю, он обладал необычайной крепостью мускулов. Мы с Гошей не считали себя неженками, на турнике подтягивались по десять раз, но по сравнению с братьями Жарковыми, в отца низкорослыми, были сущей лапшой. Петька, мой одноклассник, борол Гошу, а я даже с Толиком не мог справиться. Удивительного тут, как мы узнали много позже, ничего не было: Петька, оказывается, был ровесник брату, стыдился, должно быть, что отстал в учёбе, и старательно скрывал свой возраст.

Но сильнее всех среди ребят был Колька Захаров, обличем явный негритос: курчавые чёрные волосы, бронзовый цвет лица, толстые губы, жизнерадостная белозубая улыбка. Ростом не выше сверстников, Колька мог бороться один против всех. Делалось это так: Захаров становился в круг, ноги в лёгких ичигах широко расставлены, голова на короткой мощной шее вертится вкруговую, как у совы, а в напружиненной ссутуленной фигуре и хищно растопыренных руках таилось столько буйной силы и уверенности в своей непобедимости, что становилось страшно. Мы переминались, трусили, никто не решался ринуться первым на этого буйвола. Кидались разом, стараясь облепить, придавить к земле, но Колька неожиданным броском прорывал кольцо. Преследовать его было бесполезно: во время бега компания рассеивалась, а с двумя-тремя Захаров справлялся совершенно свободно, укладывал поборотых в кучу, садился на верхнего, тряся, изображая верховую езду, и ликовал: «Аллюра, моя лошадка!»

Обидно было мне за брата, что он не самый сильный среди деревенских ребят. И голова у него большая, круглая, что арбуз, и лицо загорелое, щекастое, широкое, как у якута, про таких полнокровных говорят, что у них рожа кирпича просит. Волосы у Гоши были густые, чёрные и грубые, будто лошадиная грива, а нос – толстый, мясистый, некрасивый, на картофелину похожий, за что его дразнили «Гошкой-картошкой». Здоровенный парнюга, посмотреть, а вот нет, большой силой не мог похвастать.

– Белая кость никогда не устоит против чёрной, – посмеивались ребята над Гошей и Петькой, – мы-то всё лето на колхозной работе упираемся, а вы только и знаете забавляться рыбалкой. С чего у вас мускулы нарастут?

Но это говорилось просто так, шутя, деления на колхозников и интеллигентов среди нас, детей, не было.

Зато по быстроногости равных мне не находилось. Едва ли не с трёх лет я начал изумлять всех этой своей способностью. Природа наградила меня крутым взёмом стопы и до безобразия мощными икрами, потому-то мне, щупленькому, так легко было бегать. Когда я бежал, мне казалось, да и другим тоже, что я лечу, и весело как-то становилось, опьяняюще весело, и время будто бы вместе со мною летело и приближало меня к будущей счастливой жизни, ко взрослой жизни. Родители полагали, что, когда вырасту, стану чемпионом по бегу.

На второе лето мы нашли отличное рыболовное местечко в трёх километрах от села, ниже Зуевой Дырки, никому не известное, уединённое и очень красивое, и назвали его Чёрным Камнем. Это совпало с тем моментом, когда отец, поддавшись нашим настоятельным просьбам, купил наконец нам за 25 рублей подручную лодку типа «шитик», устойчивое сооружение, сшитое из досок. Кроме шитиков, на Лене были в ходу струги, то есть долблёнки, и плоскодонки, и те, и другие вертлявы, мы их недолюбливали.

Важен был первый шаг. А потом у нас всегда бывало по две-три лодки, так как, находясь постоянно на реке, мы ловили во время паводков лодки, сорванные где-либо в верховых деревнях. Замков и цепей не хватало, и случалось, что даровые эти приобретения пропадали, то есть кто-то угонял их. Но нас это уже не страшило, не обескураживало. Мы крепко завладели Леной. Мало-помалу разузнали все богатые рыбой места, изучили все способы ловли, все сроки клёва различных рыб и, на диво местным рыбакам, не имея ни сетей, ни ряжей, ни невода, снабжали бесперебойно семью рыбой с середины мая, когда вскрывалась река, до суровых декабрьских морозов.

Позже долгими зимними вечерами мы сами сплели сеть-ельцовку, правда, короче и ниже стандартной, и весной поставили в узком устье большого залива; вода ночью, на наше счастье, пошла на прибыль, и мы утром с изумлением вынули не сеть, а длинную тяжеловесную грудку рыбы, обмотанную нитками до неимоверности, не осталось ни одного свободного просвета, а грузила вплотную приблизились к наплавам. Нечего было и думать выбирать добычу, перебираясь по сети, как это обычно делается, мы погрузили в лодку эту живую, шевелящуюся кишку и несколько часов подряд, едва не плача, выковыривали ельцов, обдирая пальцы, калеча рыбёшек, обрывая нити. За один раз мы взяли около пуда рыбы. Но в последующие дни сеть неизменно оставалась пустой: в устье залива улов хорош только в момент резкого перепада воды, когда рыба или бросается на кормёжку, или стремится уйти, чтобы не очутиться на мели.

Добычлива рыбалка ряжом, но такой снасти мы не завели. Гошу иногда приглашал ряжить Иван Царь, если занедуживал его напарник Пётр Амполисович, сторбленный, тонкошей, с шаркающей походкой. Иван же, в противоположность своему товарищу, отличался богатырским сложением, высоким ростом и поистине царской осанкой, не случайно его прозвали Царём. Оба находились в том почтенном возрасте, когда никто никуда не имеет права ни мобилизовать, ни призвать, и старики невозбранно ловили рыбу по договору с сельпо, да и на сторону с готовностью продавали, если находился покупатель. Именно они на первых порах снабжали наш стол рыбой. Сетей у них, уверяли, сотни, тысячи метров! Когда они отправлялись на рыбалку в дальние уголья, то гнали сразу две лодки: куда же, спрашивается, ставить бочки с засолённой рыбой, если одну лодку целиком занимали сети?!

Иван Царь пользовался на селе всеобщим уважением, а мальчишки относились к нему с благоговением, как к герою Гражданской войны, сражавшемуся с белыми. О его воинских подвигах среди ребятни ходили легенды, но уточнить, проверить их и, самое главное, окупиться в захватывающие дух подробности было невозможно, потому что дети Ивана разъеха-

лись кто куда, и ни один из внуков в нашей школе не учился. Недостаток информации, как водится, возмещался фантазией рассказчика, который на мельнице от самого Царя всё это будто бы слышал.

Забавная история произошла с нашим первым и последним вентером, который мы сами связали из толстых нитей, употребляемых для вязки неводов, и насторожили ранней весной в курье, тянувшейся подле леса, позадь колхозных лугов, от Сукнёвской протоки до самого Смольного, то есть два с половиной километра (с уходом вешней воды курья совсем исчезла), насторожили в устье маленького заливчика, на глубине метра, забили колья, растянули крылья, всё как полагается, спрятали лодку в кустах и ушли домой.

На другой день чуть свет (просыпались не по будильнику, потому что такого не было, а по методу внушения: перед сном раз десять скажешь себе: «Встать в три» – и подымешься вовремя!) мы были уже на курье.

– Вода сильно убyla за ночь, – говорит брат.

– Ага, кажется, убyla, – соглашаюсь я, зевая.

Плывём, ружьё наготове, на случай, если встретится ондатра или утка. Майское утро холодное, зябко, зевается. Летучий туманец седыми космами над водою стелется, и тишина такая огромная и разнеживающая над долиной Лены, что появляется сожаление об оставленной подушке.

Мы ищем наш заливчик, где-то вот здесь он отпочковался от курьи в сторону лугов, где же он? Куда мог деться? Ищем, но тщетно. Странно, очень странно.

– Вася, смотри-ка! – вдруг вскрикнул Гоша.

Я поднял голову: метрах в пятнадцати от воды стоял на суше наш вентерь, распахнуты крылья, разинута пасть ловушки, распёртый обручами, пузатился цилиндрический корпус. Но кого же ловить на сухом берегу?!

Мы выпрыгнули из лодки и с хохотом помчались к вентеру. Он весь сверкал льдинками, серебрился. Я тронул крыло – льдинки с нитей посыпались, тоненько звеня. В этот момент из-за горы выглянуло солнце, и льдинки брызнули алыми и розовыми искрами. Так и завалился нефартовый вентерь на вышке, больше им рыбачить как-то не пришлось.

Одним словом, мы узнали, освоили, но не полюбили рыбалку сетями. Во-первых, эти снасти, невода, ряжи и сети, слишком дороги, во-вторых, не везде, не всегда ими можно воспользоваться, в-третьих, что толку от этих центнеров рыбы, добытых за несколько весенних уловистых дней? Чем бочки солёной, ты лучше подай семье килограммчик, да каждый день и, что особенно важно, свеженькой рыбки. Самое же главное – такая рыбалка не интересна, в ней не бывает, как правило, риска, не требуется ни выдержки, ни сообразительности, ни тонкого спортивного умения.

Не сразу, не вдруг, но в конце концов мы, неугомонные рыбакишки, приглядевшись к старожилкам, поняли, что можно иметь груды сетей и всё же сидеть круглый год без свежей рыбы, что не мы, а наоборот, нам должны другие завидовать.

Сколько жирной налимьей, окунёвой душистой, боже, сколько ухи мы поели за пять золотых петропавловских лет! А мало ли жареной рыбы, залитой яйцом или просто с лучком, помели-уплели с удовольствием, напоследок дружно обрабатывая корками сальное дно большой семейной сковороды! Но более всего из рыбных блюд любили мы пироги. Рыбный пирог считался праздничным, коронным блюдом, выпекался матерью с большим мастерством, причём не всякая рыба шла в дело, а самая лучшая, самая крупная; приготовление пирога обычно приурочивалось к какому-либо семейному торжеству.

На стол пирог подавался обязательно горячим, на фанерном листе, распропахшем стряпнёй; мы с нетерпением, глотая слюнки, наблюдали, как мать режет ножом верхнюю румяную корку, и торопливо расхватывали куски; запах томлёной рыбы, распаренного риса и лука будоражил аппетит, и без того немалый; разговоры смолкали, только слышно было, как звякают,

сталкиваясь, вилки, как жуют наши челюсти и шмыгают носы, и вот уж кто-нибудь ломал с краю нижнюю корку; большая часть её оставалась, без крупиночки, без жириночки, но на другой день, подзасохшую, всё ж таки и её съедали до крошки.

Еда в жизни – далеко не главное, но я убеждён, что вряд ли кому светло детство вспомнится, если не было в нём куска сладкого, куска вкусного. Нам на это обижаться не приходится: мать была великая мастерица готовить так, что пальчики оближешь.

Итак, нашим любимым рыболовным местечком весенней порой был Чёрный Камень, названный так потому, что в первый год, как мы его узнали, здесь на берегу валялась обугленная коряга, ошибочно принятая нами вначале за камень. Позже её унесло водой, и наше заветное местечко всегда отличалось чистотой галечного бережка. Над ним господствовал, надвигаясь мысом, крутой, но невысокий бугор, увенчанный роскошным черёмуховым кустом, ветки щедро разметались, склонились над обрывчиком, осыпь обнажала длинные плети корней.

Днём развёртывалась ельцовая эпопея, но всё в ней было заранее известно, большого искусства выбрасывать на бережок ельцов не требовалось, а если и сорвётся какой, затрепыхавшись и оборвав губу, не больно-то жалко. Самое интересное должно было произойти ночью.

Вечером мы отбирали наиболее резвых ельцов из лодки, где они содержались не в садке, а просто на дне в воде, время от времени заменяемой свежей, насаживали на крючки перемёта, разбросанного по самой кромке берега. Затем Гоша забирал крайний камень в лодку и потихоньку отплывал в реку. Я травил перемёт, держа его в натянутом положении, чтобы серединные камни не ушли на дно и не зацепились. Ельцы плещутся, бороздят на течении, леса перемёта режет воду, порою прыгает вверх по течению над самой поверхностью воды.

– Готово! Бросай! – нервничая, кричу брату. – Бросай, чёрт возьми!

– Ну не психуй, брошу!

У брата нервы крепче моих, и вообще он любит всё делать с нарочитой солидностью. «Не суетись, сто лет – не маленько, – постоянно поучает он меня с самодовольной улыбочкой, – кто спешит, тот людей смешит».

Самый увесистый крайний камень брошен, перемёт лёг на дно. Частыми взмахами весла Гоша разгоняет лодку, так что она летит со скоростью торпеды и, благодаря высоко задранному носу, заскакивает на берег до половины! Чтобы угрузнувшую корму не захлестнуло водой, он опрометью со смехом выпрыгивает на сушу, неторопливо подходит к перемёту, трогает лесу рукой, даёт оценку:

– Хорошо стоит.

Пора позаботиться о ночлеге. Таскаем хворост из прибрежных зарослей ивняка, заканчиваем заготовку топлива обычно уже в темноте, когда вдруг станет жутковато на почувевшем берегу.

Но лишь займутся пламенем палки, сразу всё становится на свои места. Сидим, упираясь спинами в темноту ночи, как в стены родного дома, и ведём разговоры, нескончаемые, бессмертные, охотничье-рыбацкие. На таловом пруте над костром котелок закоптелый висит. Тихо. Только тонко свистит в огне сырая хворостина да лесной кулик за рекой хоркает. Кто-то плеснул и завозился около лодки – не выдра ли наш улов ворует?! А вот в котелке застучало, занегодовало, можно подумать, стоя ельцов об жечь в бешеной пляске колотится: вскипела вода. Надо заварить чай и ужинать. Выкатываем из золы картофелины, подгоревшие с одного боку, разламываем – в нос так и бьёт ароматом любимого пионерского кушанья. Какая вкуснятина!

Не готовили мы себе тёплых и мягких постелей на рыбалке, не строили шалашей, не боялись простуды и почему-то никогда не простужались. Бросишь телогрейку на ложе из хвороста, повернёшься спиной к пламени костра и так в рубаше да пиджаке и уснёшь. Засыпаешь сладко и хорошо, как младенец в горячих материнских руках, а проснёшься, чувствуешь: холод как тисками тебя сжал, дрожь колотит, зуб на зуб не попадает.

Навалишь хворосту побольше, раздуешь огонь из сохранившихся в пепле угольков, посидишь, погреешься. Брат в это время тоже, конечно, проснётся. Вдруг палёным запахнет. Глядь, а телогрейка под тобою дымится. Кинешься тушить, затушить не можешь, тлеет и тлеет зло-вредная вата. В сердцах бросишься с кружкой к реке и зальёшь тлеющую полу водой, а потом напялишь попорченную одежину на себя и хохочешь, кривляясь и дурачась. Вновь ложишься и погружаешься в сладкий сон.

Особенно знобко просыпаться на восходе солнца. Так холодно, что нет сил заставить себя разжигать окончательно угасший костёр, так холодно, что не верится в возможность когда-нибудь согреться, а солнце, выглянувшее из-за горы, как назло, нисколько, ну нисколько не греет. И вот тут, в эти зябкие судорожные мгновенья, возникают странные, чужие мысли, что лучше б поменьше рыбачить, почаще спать дома, в тепле.

– Пляши! Прыгай! Быстрее! Чаще! – командует Гоша.

Мы неистовствуем в дикарской пляске, и через каких-нибудь пять минут нам тепло, и не верится, что вот только что живём замерзали. Костёр разводить нет смысла, мы спешим к перемётам.

Завлекательно проверять перемёт, настороженный на крупную рыбу. Будь это на реке, где не водилось бы крупной рыбы, не было б такого жгучего интереса. Неизвестность волнует: а вдруг попадётся таймень с лодку величиной?! И хотя такого никому не попадало, но ведь возможность необыкновенного случая оставалась, и жила в душе неистребимая вера, что ты окажешься самым удачливым рыболовом, что твои таймени ещё впереди, что счастье близко, что чудо – рядом. Мы готовы были тогда на любые муки, мы согласились бы, пожалуй, на отсечение собственных пальцев с рук и ног, чтобы, скажем, за каждый палец попадало бы по тайменю на наши перемёты.

Гоша берёт хребтовину перемёта, делает первый размашистый потяг и замирает, слушает. Я впираюсь глазами в нить: не разрежет ли она сонную утреннюю воду, прикрытую нежным туманцем, не качнётся ли в реку?.. Но нет, всё недвижно. Может, и слышно, да не видно? Я буравлю глазами лицо брата:

– Ну? Ну? Не слышно?

Брат выдерживает паузу, отрицательно качает головой, начинает выбирать перемёт. Я не верю:

– Врёшь, разбойник!

Он не удостоивает меня ответом. Показались первые крючки с дохлыми ельцами, иные пусты.

– Таймень сорвал, вот хитрец! – волнуясь я. – Не мог же попасть, стерва!

– Водой сорвало, – скептически цедит Гоша, хотя ему тоже очень хочется верить, что исчезнувший елец в брюхе тайменя.

Медленно ползёт по дну перемёт, я до ряби в глазах пронзаю взором толщу воды, пытаюсь отыскать там приближающуюся громаду тайменя, но тщетно... Вдруг что-то белое мелькнуло вдали.

– Есть! – кричу. – Есть! Тащи скорее!

– Болтун! Тебе показалось.

Но нет, не показалось. Приближается уже застывший и как-то посветлевший ленок не менее килограмма весом. Неплохо. Получится отличная жарёха да, собственно, можно и пирог завернуть. Ночь провели не зря, мы довольны, но не удовлетворены вполне, нет, не такая добыча нам нужна, не об этом мы грезим во сне и наяву.

И вот однажды произошла долгожданная встреча с тайменем, хозяином сибирских рек. Дело было днём. Совсем недалеко от берега «сыграл» он, то есть всплыл на поверхность и бултыхнулся. Глянули мы: как раз напротив одной из наших закидушек. Сердце так и оборвалось:

неужели? Неужели на нашу закидушку заскочил?! Метнулись к ней – так и есть, лесу круто снесло по течению, это он стянул её вместе с камнем вниз. Брат потрогал шнур закидушки.

– Сидит? Не сорвался?

– Тут. Подожди, я сейчас лодку подгоню.

Поставили лодку рядом с закидушкой и стали подтаскивать осторожно голубую мечту нашу. Что может быть более увлекательно, чем вываживание крупной рыбы, когда все чувства обострены до крайности, когда каждый нерв натянут струной, бешеная волна радости распирает грудь и лихорадит мозг, а ноги и руки позорнейшим образом дрожат от страха и нетерпения?! «Только бы не сорвался, только бы не перекусил поводок», – так и трясётся всё внутри, как на ниточке. «Милый, хороший, драгоценный, не сорвись», – готов я молиться самому таймену, как Богу, хотя если бы он услышал мою молитву, она вряд ли ему понравилась бы...

Мы давно готовились к этой встрече и собственноручно смастерили приёмный крюк из шестимиллиметровой стальной проволоки и берёзового черешка, жало его – что игла. Но как пользоваться этим грозным орудием, мы не имели ни малейшего представления, а идти на поклон к местным рыбакам гордость не позволяла.

Искусством вываживания я овладел быстро. Секрет в том, чтобы не дать рыбе нанести удара по туго натянутой лесе, чтобы давать ей «слабину» и в то же время настойчиво подтаскивать. И вот наша мечта, наш чудо-бред подошёл к самой лодке, темноспинный, багрянохвостый. Пурпурные боковые плавнички потихоньку шевелятся, работают.

Неужели он будет наш?! Умереть можно от счастья!.. А таймень стоит, едва не касаясь борта лодки напротив нас, его можно было бы попросту забросить в лодку быстрым движением руки, подхватив под брюхо, ибо весил он по виду не более пяти килограммов, но мы, напрочь обалдевшие от волнения, бестолково и судорожно пытались сообразить, как действовать приёмным крюком. Смотрим: таймень весь гладкий, ни сучка, как говорится, ни задоринки, за что же его цеплять-хватать?! Только щёки таймени то откроются, то закроются, будто клапаны.

– За жабры их поддевают! – вдруг осенила Гошу замечательная, как мне показалось, мысль.

– Правильно! Больше не за что! – восторгнулся я догадливостью брата.

Стал Гоша жало крюка заправлять таймену в жабры, да на беду никак не попадёт в узкую щелочку, лишь подведёт – жабры закроются, крюк скользит по щеке тайменя. А тот слегка головой мотнёт: чего, мол, щекочете? Но не убегает, по-прежнему стоит на одном месте, нас рассматривает. Более смиренного и глупого тайменя, думаю, в целой Лене не сыскать, ну а мы с братом в ту пору показали себя ещё большими глупцами. Долго так мы щекотали тайменя и всё без толку.

Кончилось тем, что брат потащил тайменя за поводок, хотя заранее было ясно, что такая попытка безнадёжна. Да хотя бы рывком потянул, а он остороженько приподнимает тяжёлую рыбину на поводке, ссученном из швейных ниток, будто на безмене взвешивает!.. Если б таймень в этот смертельно опасный для него момент рванулся, он порвал бы поводок в десять раз более крепкий, странный же меланхолик, безропотно разрешавший манипулировать над собою, покорно позволил Гоше извлечь себя из родной стихии, не испугался, не воспротивился самонадеянным движением мускулов совершаемому насилию, но поводок не выдержал тяжести и лопнул! Таймень плюхнулся в воду, но не убежал, по-прежнему оставался недвижим. Редчайший случай, когда сильный хищник не боролся за свою жизнь, а напротив, отдавал себя в жертву. Даже в этот момент можно было попытаться схватить его и забросить в лодку, но мы не смогли воспользоваться благоприятными обстоятельствами, мы окончательно растерялись и оторопело наблюдали, как таймень, помедлив с полминуты, потихоньку развернулся и двинулся в реку. Помахивая на прощанье багряным хвостом. И вот наконец он исчез в глубине. Горечь неудачи была так велика, что, казалось, легче утопиться, чем её пережить...

К половине июня прекращался клёв ельца, сороги и ленка, и вообще заканчивался весенний добычливый период.

А с 20 июня до 1 июля – клёв щуки. Выяснилось это совершенно случайно, когда мы поставили перемёт пониже двухкилометрового острова, что находился напротив Петропавловска ближе к другому, правому берегу. Низовые побережья острова заросли рдестом плавающим; длиннейшие буроватые плети с овальными листочками образовали настоящие водяные джунгли, поднимаясь со дна и расплываясь по поверхности воды. Лодки с трудом продвигались по переплетению растений, огибая остров, зато рыбы в этих дебрях чувствовали себя, должно быть, превосходно.

Это местечко было на редкость привлекательно своей загадочностью, красотой и глубиной. Течение основного потока стремительное, как с огня рвёт, вода протоки дремлет, еле течёт. На быстрине стоит лобастый грозный таймень, в зарослях рдеста обитают весёлые окуни-щёголи, застенчивый красноглазый сорожняк, отшельницы-нелюдимки щуки с немигающим разбойничьим взором, а по самому сливу, пониже, где водоворотики пылят донным песочком и червячков вымывают наружу, бродят неповоротливые остроносые осетры.

Для неводов этот закоулок был недоступен, с сетями тут тоже нечего делать: очень глубоко. Что касается рыбалки перемётами, так она не в чести у местных любителей рыбы: колхозникам изучать повадки речных обитателей некогда, у них вся надежда на невод, выберут вечером, черпанут несколько раз убегающую Лену, добудут ведро рыбы – и довольно.

Зато бухгалтер сельпо Зайцев, тучный белобрысый мужчина в очках, так привык к этому сливу, что, можно подумать, считал его своей заповедной вотчиной. У него там всегда стоял перемёт на мёртвом якоре, с весны и до поздней осени, без всякой просушки, вопреки всем рыболовным инструкциям. Ничем и нигде больше Зайцев никогда не рыбачил. В конце рыбацкого сезона бухгалтер снимал порядочно подгнивший перемёт и выкидывал, как мусор, а на другой год вновь сучил из конопли такой же. На берегу, возле конюшен, на крохотных колёсиках стояли приспособления для скручивания веревок, похожие на детские самокаты, этими колхозными орудиями при надобности мог воспользоваться любой, разумеется, без спросу и без платы.

То был прославленный, в некотором роде легендарный перемёт. По рассказам Кеши Зайцева, учившегося со мной в одном классе, снасть смастачена с десятикратным запасом прочности, да и по размеру за десять обычных перемётишек вытянет: хребтовина чуть не в палец, метровые поводки (а это тоже не слыхано, не видано!) – в полпальца толщиной, крючки, в кузнице откованные, вершковой величины, от крючка до крючка добрых пять метров, а весь перемёт полкилометра длиной!

Не сыскать более странного и непонятного парня, чем Кеша Зайцев, да еще и смешнучего такого: что журавль в очках. На переменах он не возился, не боролся с товарищами, не хохотал, не вертелся, как все прочие, в снежки во дворе не играл и вообще с ребячьей вольницей не водился, после школы его и не увидишь, а бегать, можно подумать, совсем был не в состоянии: вышагивал медленно, покачиваясь на своих длинных ходулинах. И его не трогали, не задирали. Ну разве мыслимо этакое нескладня, разбежавшись, толкнуть шутя со всего маху? Если не переломится пополам, так очки обязательно разобьёт, а они, нам думалось, стоят несусветно дорого: никто в классе, кроме Кеши, очков не носил.

Учился Зайцев хорошо, прилежно, много читал, увлекался шахматами, а писал, как печатал: каждая буква старательно, чётко выведена и стоит отдельно, с другими буквами не соединена. Даже в почерке проглядывала непохожесть его ни на кого и отъединённость ото всех. Мы с Кешей, как самые грамотные и развитые, уже в четвертом классе самостоятельно, без помощи учителей, выпускали стенгазету и определённо испытывали взаимную приязнь, но так и не стали друзьями.

Ежедневно Зайцев со своим сыном совершал поездку к перемёту, снимал добычу, обновлял наживку, на уху у них почти всегда было, и раз в лето они поражали деревню полторапудовым тайменем или осетром, которого бухгалтер величественно нёс на шесте, продетом в жабры речного гиганта, после чего мальчишки две недели рассказывали всем, что «хвост у него, право слово, по земле волочился, а пасть, а пасть такая огромная, что и человека запросто, поди-ка, заглотнуть мог бы».

Долго и неотступно мучила нас легенда, пока мы не насмелились проверить её достоверность и не подняли однажды кошкой со дна зайцевский перемёт. Всё в нём до мелочей соответствовало Кешиному описанию. Мы перебирались по перемёту и всё более нервничали: как бы не засёк хозяин нас за таким преступным занятием. Наконец, не выдержали и отпустили лесу перемёта, убеждённые, что он и в самом деле полукилометровый.

И вот на сливе появились новые хозяева. Замах наш был на большеротого окунька, а вместо того раскрыли целую щучью колонию.

Но вначале несколько слов о живцах летне-осеннего периода, ибо без живцов рыбалка не состоится. Когда схлынет весенняя грязь и муть, и вода в Лене станет спокойной, прозрачной, повсюду на мелководе, а в особенности около села и близ мельницы, что за островом, увидишь стаи мальков с детский пальчик величиной. Это тоже гальяны, по-местному мандыра, крупнее не вырастают, однако около мельниц и по горным речкам, где корма богаче, мандыра породистей и окрашена темнее.

Эта мандыра – настоящий клад для рыбака, более дешёвого живца не придумать. Выйдешь на берег с бреднем, сшитым из двух-трёх разрезанных повдоль кулей, жердью утолкаешь один конец в реку, а другой у берега придерживаешь, меж тем напарник бечёвкой тянет вниз по течению дальше крыло; пройдёшь так немного и, как увидишь, что мелюзги около бредня скопилось видимо-невидимо, отбрось жердь прочь и вместе с товарищем выбирай бредень, подрезая донный край. Поднимать надо одновременно. Вода стечёт – и в холстине кишмя закишит мандыра. Высыпай её на дно лодки, а чтоб не издыхала, водички свеженькой подливай. Два-три раза закинешь бредень – и живцов хватит на целые сутки.

Мандыра никем ни во что не ставилось, никому не нужна была как будто. Разве что иной предприимчивый хозяин выйдет с таким же бреднем и нагребёт её целыми вёдрами на корм свиньям. Или старушка взгромоздится в лодку, приткнутую к берегу, и промышляет обыкновенным решетом: опустит его на дно палкой, дождётся, когда рыбки соберутся куском теста полакомиться, и поднимет вверх. Бедная рыбёшка на сухом. Вытряхнет бабка рыбу в туюсок, и всё повторяется сызнава.

– Что делаешь, бабушка?

– Ай не видишь, родной, рыбку ловлю.

– Зачем она тебе?

– Известно зачем, исть. Некому у меня хорошей рыбы наловить, а ведь тоже охота. Так потянет, так потянет на рыбку, индо слюни потекут.

Эта самая маленькая ленская рыбёшка тучей бросалась на колхозную водовозку, заехавшую в реку. В поднятой колёсами мути рыбки находили что-то съедобное и попутно интересовались, кто это к ним в гости пожаловал, резвились, играли с водовозом, подстрекали ловить их ведёрным черпаком. Доверчивость, любознательность мандыры прямо-таки удивительна: если дождливой порой забредёшь босиком в воду, рыбки, привлечённые белизной, будут безбоязненно трогать, щекотать тебя, отпугнёшь – а они опять лезут!

Нам доводилось вытаскивать окуней, ленков, налимов. Не умея пользоваться приёмным крюком, брат применял такой метод: заведя крупную рыбу на перемёте, кидался опрометью прочь от воды по пологому берегу, волоча за собой перемёт вместе с добычей. Это, конечно, приём отчаяния: если рыба сорвётся с крючка на суше недалеко от воды, она улизнёт обратно в реку раньше, чем незадачливый рыбак вернётся и схватит её. Но если перемёт

поставлен с лодки, вдали от берега, волей-неволей приходится использовать иные ухватки, например, забрасывать добычу за поводок неожиданным рывком, если, разумеется, она не слишком велика и покладиста нравом, в противном случае... Так что в один прекрасный июньский день перед нами снова был поставлен с предельной остротой неизбежный вопрос: как пользоваться приёмным крюком, как наверняка забарабать попавшуюся на крючок крупную рыбу?..

Перемёт крючков в двадцать насторожили на стрелке острова чуть ниже зарослей плавающего рдеста, причём хребтовина перемёта протянулась в полводы, поддерживаемая наплавами. Через какой-нибудь час попалась большущая щука. Она упорно держалась поодаль, порою у нас на глазах бросалась на хребтовину перемёта и, сознавая, что именно эта нить держит и подтаскивает к подозрительным существам из иного, воздушного мира, пыталась перекусить её своею жутко зубастой пастью, металась в неистовстве и выпрыгивала из воды на добрых полметра от поверхности! В продолжение всей схватки, длившейся, быть может, с четверть часа, хищница смотрела на нас так пронзительно-зорко, с такой тревожной настороженностью, что казалось: она мыслит вполне здраво, почти по-человечески, наши хитрости разгадала, более того, грозит жестоко расправиться, если не оставим её в покое.

Всё ближе подвожу я строптивцу к лодке, до неё уже рукой подать, но один вид крюка бесит щуку, она как будто бы догадывается о его назначении. Такая разбойница, не бойсь, не позволит смиренно поддеть себя за жабры. Как же в таком случае залучить её в лодку?.. А он, этот способ, несомненно, есть, должен быть, иначе крупная рыба, как правило, срывалась бы с крючков.

Но вот Гоша незаметно подвёл крюк под щуку, при этом воинственно сверкавшее жало целило в брюхо рыбине и как бы подсказывало, что надо делать. И брат, разозлённый безуспешностью борьбы и прошлыми неудачами, неожиданно для самого себя рванул, сколько было мочи, древко крюка на себя – щука, пронзённая остриём, выскочила из воды наполовину, легла башкой на борт лодки!.. У меня помутилось в глазах. Сейчас, сейчас она трепыхнётся и сорвётся с крюка! (Через неделю здесь же крупная щука, попавшаяся на перемёт и поддетая крюком, рванулась, сломала крюк и ушла!) Всё зависит от того, кто окажется проворнее, кто опередит: или щука трепыхнётся, или Гоша сделает второй рывок и перебросит её через борт. Этот критический момент длился, думаю, какие-то доли секунды, но в память врезался неизгладимо, на всю жизнь.

Щука в лодке! Ястребом я упал на неё, задавил своим телом, чтобы она не выбросилась обратно в реку, а Гоша размашисто погрёб к острову.

– Держишь? Не упустишь? – беспокоился он.

– Да уж будь спок! – заверил я его.

– Смотри, чтоб за руку не цапнула! – предостерёг меня брат. – И в жабры пальцы не толкай: поранишь!

Лодка мягко ткнулась в земляной берег. Здесь мы нашу пятикилограммовую добычу выволокли на зелёную лужайку подалеже от воды и оглушили веслом.

– Так вот, оказывается, как действуют крюком! – подытожил Гоша. – И как мы раньше не догадались?! Ведь это так просто!

И мы до упаду хохотали, вспоминая, как щекотали, будто поросёнка, тайменя у Чёрного Камня. А когда возвращались к лодке со своей добычей, вдруг слышали задорное:

– Ого! Ничего себе! Молодцом!

Это проплывали мимо Жарковы, отец с Петькой, а крикнул сам Жарков. Мы вразной поприветствовали фельдшера, несколько смущённые тем, что не заметили их ранее и не успели подумать и решить, прятать или не прятать щуку от посторонних. Задним числом сошлись на том, что для Жарковых щука не диковинка, вряд ли позавидуют, а вообще ничего страшного не произойдёт, если и позавидуют, нелишне им знать, особенно задаваке Петьке, что мы не

лыком шиты, нам тоже есть чем похвастать, да только мы не из таковских. Жарков-младший во время этой встречи не соизволил даже взглянуть на нас.

Зависть Петьки к моим успехам в учёбе не давала ему покоя. Жарков был ударник, то есть шёл на четвёрках, выбиться в отличники ему никак не удавалось. А может, он завидовал моей способности сочинять стихи? Складней меня никто не мог зарифмовать куплеты к карикатурам в школьной стенгазете. Или его больно задевало то, что директор школы, преподававший у нас русский язык и литературу, поручал мне, если его срочно вызывали по делам, довести урок до конца?.. И уж, конечно, вряд ли ему нравилось, что на торжественных линейках в числе лучших учеников школы моё имя называлось первым!

Петька постоянно искал случая, чтобы подкусить меня, его насмешки надо мною становились всё злее, я же эти выходки принимал как шутки, всеми силами оттягивал разрыв. У меня даже возник план умышленно хуже учиться, нарочно в диктантах и контрольных делать ошибки, во время устного опроса неувереннее, слабее отвечать. Я посоветовался с братом, но он пристыдил меня:

– Какая же это дружба, если ты ради своего Петьки будешь обманывать всех?! Да и не получится у тебя этот фокус: ты же не умеешь хитрить!

Да, наша дружба оказалась с червоточиной. Я это понимал и всё же на что-то надеялся. Но вот однажды на перемене, когда, дурачась, изображал гоголевского городничего из «Ревизора»: надул щёки, закрыл глаза, закинул руки за спину, – Петька подскочил, надавал мне оплеух и захохотал с откровенной злобой, так не вязавшейся с его якобы шутивым нападением на «царского сатрапа». Я не полез драться, а заплакал над нашей умершей дружбой. Ребята осудили меня за это: слабачок, мол, маменькин сыночек.

С той поры я стал замечать долгие тоскливые взгляды Толика Жаркова, обращенные ко мне. «Столько снежных боёв, столько лыжных вылазок сделано, столько печёной картошки из костра, столько колхозного турнепса вместе съедено, что же теперь происходит? Почему мы уже не друзья?» – хотел, но не решался спросить мальчик. «Эх, Толик, не знаешь ты своего брата, – думал я, – ошибся я в нём. Может быть, именно ты самый лучший человек на свете. Так трудно разбираться в людях!»

Дело в том, что в нашей компании Толик как самый младший занимал «шестёрочное» положение, то есть был на подхвате, на побегушках, довольствовался недоверчивыми усмешечками, шуточками и беззлобными щелчками по носу. Не равноправная фигура, а лишь добавка, бесплатное приложение к своему старшаку. Потому-то из-за вражды Петьки к нам Толик терял право общаться с нами независимо от того, одобрял или осуждал он поведение брата.

В тот день мы добыли ещё двух щук, по два килограмма каждая, и потеряли несколько крючков: уж больно они, холера их заberi, эти щуки, зубасты! В последующие дни пришлось срочно изыскивать и заменять верёвочные поводки стальной проволокой, чтоб не лишиться оставшихся крючков: потерять-то легко, а разжиться ой как трудно! Совсем ошалевшие от счастья, мы воротились домой и в полной мере насладились восхищением домашних.

Ежегодно последнюю декаду июня мы дневали и ночевали на стрелке острова. Мать каждый день в эту пору кормила нас жарениной и рыбными пирогами, да кроме того, засаливала впрок целую кадку наиболее крупных рыбин.

Однажды на этой стрелке мы попали в жестокую переделку. Настораживали перемёт, как вдруг дунула низовка. Ветер против течения с неимоверной быстротой поднимает волны, причём тем выше и круче, чем более глубина. Ниже стрелки в непогодь всегда играли беляки. В этом месте как-то перевернуло лодку, очутившиеся в воде люди взобрались на днище её и держались, пока не подоспела помощь. Чтоб не перевернуться вместе с лодкой в бурю, ни в коем случае нельзя подставлять борт волне, наоборот, надо направлять нос лодки навстречу накатывающейся опасности, резать, рассекать волну – это самая главная премудрость.

До острова было всего каких-нибудь 150 метров, но крутые, как верблюжьи горбы, волны задерживали нас. Проходя мимо, они заплескивались через борт, вычерпывать же воду было некогда, мы изо всех сил налегали на вёсла, а ямы между водяными горбами становились всё глубже и зловещей. Заиграли беляки на гребнях волн – признак их неистовства.

Лишь когда достигли рдестовых зарослей, вздохнули облегчённо: спасены! Здесь волн нет. Вытащили лодку на зелёную лужайку острова. Но неудобно, холодно на ветру, а поблизости ни куста, ни деревца. Почти вся площадь громадного острова – богатейшие покосы, с грядами верб и черёмух у озерков и проток, есть и сплошные заросли ивовые, но это в верхней части острова. Мы сообразили, что можно укрываться в стогу сена, стоявшем неподалёку. Сделали под стогом нору, залезли туда, улеглись рядышком, а выдерганным сеном прикрыли выход.

В нашем логове было так тепло и душисто, так уютно и покойно, что недавнее нервное напряжение быстро сменилось блаженной расслабленностью, и мы незаметно уснули. Когда проснулись, над Леной стоял тихий июльский вечер.

– Гоша, взгляни, закат-то какой! – прошептал я потрясённо.

– Ага, – смущённо согласился брат.

Мы долго смотрели на закат, на белую церковь с малиновым отливом, на плавное неудержимое струение реки. Мы тогда впервые отчётливо поняли, как всё это прекрасно, и умилились от глубокой благодарности своей счастливой судьбе, лишь попугавшей, но не отнявшей у нас жизнь. И ничего больше не сказали друг другу, потому что не нашли бы нужных слов, да и стыдились говорить о переполнявших нас высоких чувствах.

Этот, в сущности, незначительный эпизод запомнился так же, как, наверное, альпинисту штурм трудной вершины и упоение победой, когда у ног лежит, в сиянии и голубой дымке, вся планета, и в душе до сих пор остаётся неискоренимое, как музыкальный отзвук, заветное желание когда-нибудь вновь, ненароком, полежать или переночевать под душистою громадою стога сена, должно быть, в надежде, что опять вернётся то остро-приятное чувство полноты жизни и любви к нашей земле.

Июль – самый безрыбный месяц летом. А если учесть, что он бесплоден и по многим другим статьям: ни ягод ещё нет, ни овощей в первой его половине, да и мяса нигде не купишь, забоя нет, то становится ясно, что свежая рыбка на обеденном столе большой семьи в особенности желательна. Так-то так, но нет ведь рыбы, нет, основная масса её зашла в таёжные речки, откармливается там на приволье, а та, что в Лене осталась, настолько сыта, что, можно подумать, и не питается ничем.

Мама всячески поощряла, подхваливала нас, чтоб мы не стыдились мизерных уловов, и мы булькались на реке по-прежнему, добывая по полдесятка ельцов и ершей за день. Да-да, ершей! В июле не приходилось брезговать ершами, потому что на безрыбье и ёрш рыба. А что? Если по справедливости судить, то надо прямо сказать, что ёрш – далеко не последний, не худший представитель рыбьего племени. Если ёрш крупный, вершка два с половиной, пузатый да икрёной, так в нём есть чем поживиться, и мясо белое, нежное, вкусное, и навар в ухе жирный, сдобный, сытный, и запах густой, стойкий, заманчивой.

А по горным речкам, слышно, рыбы баснословно много, хоть штанами, завязав гачи, лови! Иван Царь с Петром Амполисовичем плавали туда с сетями и добывали отлично. Там, якобы, и зверя полно, на каждом шагу сохатые, медведи, заплывшие жиром, бродят, глухарей и рябчиков – тьма, одним словом, волшебная страна, утраченный рай в нетронutom виде. И вот мы нацелились на ближайшую такую речку, Пилюду, устье которой находилось в восьми километрах от Петропавловска; в Пилюду же, в свою очередь, впадала Рассоха, будто бы особенно изобильная рыбой.

Года два шли разговоры о поездке на Пилюду и Рассоху, но мать всё не решалась отпустить нас так далеко, на много дней одних, хотя если б случиться беде, она всегда могла произойти и на Лене, а на Пилюде, с её мелководьем, если разобраться, и утонуть-то мудрено.

На третье по счёту лето нашего жительства на Лене вопрос о поездке в глубины девственной тайги был решён, в принципе, положительно. А шёл, как я уже несколько раз говорил, правда, вскользь, столь памятный старшему поколению 1941 год.

Распалённое воображение надарило нас таких чудес и успехов в предстоящем путешествии, что мы задолго до наступления заветного срока, фактически с самой весны, стали бредить Пилюдой, все наши вылазки по Ленским излюбленным местечкам казались уже скучными, пресными. По мере приближения середины лета нетерпение возрастало. Брат ещё так и сяк, я же буквально изводился, страшась, как бы мать, скорая на внезапные и окончательные решения, не передумала. Слонялся, будто лунатик, в свободное время из угла в угол и ныл, скулил, стонал невыносимо-жалобно, точно больной зуб: «На Рас-со-оху! На Рас-со-оху!» Домашние только посмеивались да головами качали.

– Парень-то совсем помешался на Рассохе, – толковала отцу мать. – Не отпусти их, он, пожалуй, заболит с горя. Придётся отпустить. Только одних я их не пушу куда-то в тайгу, к чёрту на кулички, медведям в лапы. Езжай-ка ты, старик, вместе с ними. Так надёжнее будет и мне покойнее. Пусть отведут душу.

Мамино решение поставить над нами опекуна нас отнюдь не обрадовало. Наоборот, где-то в глубине души зашевелилось суеверное соображение, что участие отца, не сведущего в охотничье-рыбачьих делах, до смешного беспомощного в лодке и панически боящегося воды, испортит всё. Скрепя сердце мы смирились с волей матери, так как лучше было ехать на Рассоху с отцом, чем совсем отказаться от такого соблазнительнейшего намерения.

Удивляло и забавляло, что отец вдруг тоже воспламенился нашими робинзонскими страстями и стал руководить сборами, готовиться к походу, дескать, надо не накануне, а задолго до намеченного срока. С решительным видом землепроходца он натянул на ноги кожаные сапоги с высокими голенищами и непомерно широкими шагами расхаживал по комнате, словно капитан грузового парохода по палубе, покрикивал на нас, громогласно проверял по списку, всё ли упаковано в котомки. Мы с тайным недовольством повиновались ему, а сами понимающе переглядывались, укладкой посмеивались. Ах, только бы скорее вырваться из дому! А там всё станет на свои места: на воде отец быстро потеряет самоуверенность, и вся полнота власти сама собою перейдёт в наши руки.

Выезд наметили на первое июля. Но тут совсем некстати началась война в фашистской Германии. Председатель сельсовета в тот же день организовал митинг, на котором самую длинную и зажигательную речь произнёс директор школы. Люди жадно следили за сводками Совинформбюро и с тревогой спрашивали друг друга, почему так стремительно враг продвигается в глубь нашей территории. Мобилизованные по первому призыву медленно и плавно поехали пароходом под музыку и плач родной деревни. Никого из них покамест не убило, не ранило, не контузило, и у кой-кого из сердобольных родственников теплилась робкая надежда, что, может, не так уж всё страшно, что, пока мобилизованные добираются до Иркутска да обучаются военному делу в Мальте, регулярная армия, глядишь, сама, опомнившись от неожиданного удара, справится с супостатом.

Сосед, колхозный шорник, каждый вечер, завидя нашего отца во дворе, окликал его, и они обстоятельно, долго обсуждали международное положение, при этом шорник кипятился, много и горячо говорил, отец же был хмур и немногословен.

– Вы слышали последнее сообщение?! Нет?! Ну как же, как же! – восклицал шорник, воинственно выставя вперёд свою окладистую, рыжую с проседью, бороду. – Нашими войсками уничтожено триста немецких танков! Вы представляете?! Три-ста!!!

И смотрел так победоносно, так торжествующе, точно это он сам те танки истребил. Но отец не разделял этих восторгов, отводил глаза в сторону, мрачнел, многозначительно вздыхал. Прислушиваясь к их разговору, я злился на отца, мне казалось, что он просто из упрямства не хочет признать, что немецкое наступление вот-вот захлебнётся.

Воспитанные, подобно всем мальчишкам тех лет, на чапаевских фильмах, мы с братом были твёрдо уверены, что Красная Армия расхлещет германских фашистов блестяще, героически, только, может быть, не так быстро, как, скажем, японских самураев у Хасана, и потому начавшаяся война нисколько не остудила нашего рыбацкого азарта. Трудно было нам, детям, находясь в 7000 километрах от западных границ, представить размеры опасности, нависшей над всем, что есть в нашей стране, в том числе над черёмуховым кустом у Чёрного Камня и над таёжной речкой Пилюдой.

И вот долгожданный день настал. Слава богу, наконец-то! Гоша отпихнул лодку, и мы поплыли вниз по течению. Ур-ра-а! До самой последней минуты я всё боялся, что мама переживает, и экспедиция в дебри тайги по горной необжитой реке не состоится. Но теперь мечта становится явью, с каждой секундой сказочная Рассоха приближается к нам.

За Чёрным Камнем, минуя древний ельник на острове, свернули в Сукнёвскую протоку, она должна вывести нас к деревне Березовке, к устью Пилюды. Пять километров пути уже за плечами.

– А приёмный крюк взяли? – вдруг спросил отец.

– Взяли, наверное, – пробурчал брат.

– Вася, посмотри, где он там.

Я порылся в носу лодки среди котомок – что за чертовщина?! Так тщательно собирались и...

– Нет крюка.

– То есть как это нет?!

– Не знаю... Нету...

– Обойдёмся и без него! – с командирской твёрдостью и невозмутимостью отрезал Гоша.

– Стоп! – вскричал отец. – Дальше ни шагу! С чем же едем? Без крюка там делать нечего.

Как будем ленков вытаскивать?!

Лодка остановилась, я загорюнился, но брат не потерял присутствия духа, засмеялся высокомерно:

– Да что крюк! Было б кого вытаскивать! Крюк надо? Пожалуйста! – он выломил рогульку из склонившейся над водою ивы. – Остаётся ножом заострить вот этот отросток – и можно вытаскивать тайменя на полтора пуда!

– Вздор! – запальчиво оборвал Гошу наш никудышный опекун. – Прутик он прутик и есть. А нужен стальной крюк. Я не двинусь дальше, пока не сбегаете за крюком. Не согласны – немедленно возвращаемся домой.

Нет, не будет толку с таким безголовым предводителем. По нашим понятиям, нельзя было возвращаться домой за крюком, так как давно замечено и всем известно: если поедешь на рыбалку, что-либо забудешь и вернёшься, – удачи не жди. Отец же сроду ерша из воды не вытащил, он ничего этого не понимал, ну просто ничегошеньки, человек был абсолютно не в курсе всех этих тонких дел. С хохлацкой напористостью (отец родом с Украины) он стоял на своём, а нам было лихо от досады, от злости, от предчувствия надвигающихся бед. Но делать нечего, пришлось смириться и сбегать домой за крюком.

Пилюда, впадавшая в Ленскую протоку около деревни Березовки, в устье была спокойной, глубокой, но вскоре пошли перекаты, шиверы, буреломины в русле реки, шесты дрожали и гнулись, мы напрягали все силы, преодолевая быстрины, и отмечали про себя, что впервые идём таким трудным путём. И бечевой никак не воспользуешься: берег то обрывист, то слишком лесист, то захламлён валежником, а если и чист, так вода, глядишь, рассеялась между валунами, такая мель, что не знаешь, где и пробраться. И хотя шестами мы владели заправски, но физически (мне только что исполнилось двенадцать, брату – пятнадцать) были слабы для путешествий подобного рода. Перекаты выматывали нас, и не по себе становилось от мысли, что дальше-то, пожалуй, будет ещё труднее, что до загадочной, до сказочной Рассохи нам не

дотянуть. Отец не в состоянии был чем-либо помочь. Если берег был хороший, легкопроходимый, мы высаживали его, чтоб несколько разгрузить лодку.

По Лене-то что не плавать, тишь да гладь да божья благодать, как говорится, в особенности в летнюю, в осеннюю пору: бери шест одной рукой, а другую можешь просто-напросто в карман засунуть, – и пойдёшь, и пойдёшь на шесте, побрасывая его вперёд вплоть к борту лодки и с лёгким приседанием нажимая на древко, и так можешь, не чувствуя усталости, весь день плыть вверх по течению, убаюканный плавным покачиванием, мреющим зноем и свирельной песенкой струйки, бьющей в нос лодки, любуясь раздольем зелёных лужков и галечными косами, такими же прямолинейно ровными и длинными, как взлётные аэродромные дорожки, – на левом берегу, крутыми лесистыми склонами гор и красными ярами – на правом, – и всё это млеет, нежится, дремлет в лавине солнечного света, солнечного тепла, заполнившего долину. Изредка на десятикилометровом плёсе реки с отразившимися в нём белыми облачками покажется грузовой пароход, маленький, приземистый, напыжившийся, со связкой барж, или двухпалубный белый красавец – пассажирский. Мы всегда рады такому событию и во весь дух мчимся на своей лодочке под самую корму проходящего парохода, чтоб покачаться на высоких волнах, бегущих от колёс, с замиранием сердца взлетая на гребни. А тут, на Пилюде, приходится смотреть в оба, на каждом шагу жди подвоха от порожиистой речки! Стометровому плёсику рады не рады: можно немного расслабиться, передохнуть.

На одном из таких невеликих плёсиков заметили стаю хариусов. Непуганные, они стояли на виду, почти под самой лодкой и не выказывали признаков беспокойства от соседства с людьми. Мы задержались, взялись за удочки, но напрасно: хариусы были сыты и не обращали внимания на приманку. Мы, злясь, буквально мазали им губы извивавшимися на крючках червяками, но заевшиеся рыбы отпихивали пищу и продолжали, будто нарочно дразня нас, помакивать хвостиками, уж лучше б испугались да убежали, негодные! Досада терзала нас: видит око, да зуб неймёт!

– Дураки! Что мы делаем?! Да ведь хариусы летом червей не едят! Им кузнечиков подавай, насекомых! – спохватился Гоша.

– Верно! – воспрянул я духом. – Как же это мы упустили?!

Приткнули лодку к берегу и побежали на зелёный лужок, случившийся тут кстати, ловить кузнечиков кепками. Их полно было в траве, они сидели под травинками, замаскированные, и пилили на своих скрипках. Пойманных кузнечиков сажали в пустые спичечные коробки, где они размещались с сухим недоумённым шорохом.

Вернулись к лодке. Табунок хариусов держался на прежнем месте. Приближалось время обеда, и мы предложили им на обед кузнечиков – безрезультатно.

– А если оводов? – посоветовал отец.

Но и оводы, и бабочки были с прежней непреклонностью забракованы таёжными гурманами. Мы с братом в отчаянии: что же им нужно?!

– М-да-а. Не так-то просто, оказывается, здесь наловить рыбу, хотя и полно её, – размышлял Гоша вслух. – Сыта она, рыба. Вишь какие круглые они!..

Двинулись дальше несолоно хлебавши. Сильный шум привлёк наше внимание. Думали, шивера, оказалось – заездок. Четырёхногие козлы наставлены во всю ширину реки, на них уложены жерди настила, с настила в дно вбиты упорные колья, которые держат щиты из сосновых тычек, такие плотные, что в щели не то что рыба, мышшь не проскочит. Тысячью тонких струй речка просачивалась сквозь плотину. В специально оставленные прораны опускают морды, и вся рыба, идущая к верховьям, попадает в эти ловушки из ивовых прутьев.

В течение лета рыбаки, если только можно так назвать браконьеров-заездочников, отлавливают рыбу, идущую вверх, осенью же прораны заделывают до верхнего полуметрового пласта воды и устанавливают длинные корзины, в которые хлещет вода. Рыба, скатывающаяся вниз, на зимовку, непременно должна попасть в эти корзины. Самая горячая пора у заездоч-

ников – когда повалит лист с деревьев. Они не успевают таскать, потрошить и засаливать рыбу, некогда ни спать, ни есть. А там, глядишь, не хватило бочек, соли, и улов оказывался проквашен и выброшен.

Но рыба не так глупа, чтобы опрометью нырять в предательскую корзину. Неизмеримо большая часть рыбы поворачивает и уходит обратно вверх по обмелевшей реке. Там зимою в маловодных бочагах немало погибнет её от недостатка кислорода, от промерзания бочагов в лютые морозы.

Ни в сказке сказать, ни пером описать, сколько таким хищническим методом выловлено, а ещё более погублено рыбы по бесчисленным речкам и речушкам страны нашей. Отсутствие рыбанадзора или хотя бы разъяснительной работы приводило к невосполнимым потерям. Браконьерствовали не только частники, но и государственные организации, так, в 1947 году на одной из таёжных речек Якутии, Эльдиканке, я наблюдал строительство заездка бригадой местного продснаба.

Приближаясь к зловещему сооружению, мы не знали тогда доподлинно, насколько оно вредно, не знали, что на наших глазах совершается страшное преступление, что заездок – это смертельный удар по рыбным запасам водоёма, что за одно лето можно опустошить подобной плотиной речку на многие десятилетия вперед, однако догадывались: творится неладное, испокон веков рыба разбредалась и кормилась по Пилюде и её притокам, а нынче на пути заслон, или на сковородку сигаи, или сдыхай с голоду, – иного выбора бедной рыбке не предвидится.

Чтоб миновать злосчастный заездок, мы были вынуждены посуху тащить лодку. Шум там стоял такой, что приходилось кричать, разговаривая друг с другом. Спросили хозяина заездка, как ловится рыба. Здоровый сильный мужик, он во время разговора запрокидывал голову назад и жестикулировал не в меру рьяно. Добычи нет, уверял нас браконьер, в морды попадает по 2–3 ельца в сутки, а у самого рожа так и сияла хитростью и самодовольством.

Незадолго до вечера миновали заброшенный заездок-коротын, захвативший малую часть реки. Такие заездки безвредны, они и человека накормят ухой-жарехой, и реке ощутимого урона не нанесут. Бережок отлогий, утопанный, обжитой. За береговыми кустами, угадывалось, должна быть избушка-зимовьюшка. На всякий случай мы остановились. Гоша сбегал и разыскал её: может, пригодится на обратном пути.

А вот ещё домик на берегу, маленький-маленький, вроде котуха свиного. Это ловушка на медведя. Дверь поднята вверх, она свободно движется по пазам, выбранным в дверных колодах, а в избушке мясная приманка, когда медведь её тронет, сработает сторожок, дверь упадёт и накрепко закроет выход.

Ночевать остановились на крутой излучине. Местечко было хмурое, неприветливое, без полянки, за речкой высилась крутая гора с каменистыми осыпями, загораживала небо. Я стал таскать хворост, отец – разводить костёр и кипятить чай, а брат попытался наловить рыбы к ужину, и ему удалось надёргать десятка два довольно крупных хариусов и ельцов. Это было здорово: на Лене хариуса не вдруг-то поймашь, не любит он её тёплые тихие воды. Но распробовать в тот вечер новину не удалось: родитель наш уже наварил пшённой каши. Пришлось утешиться мыслью, что это вкуснейшее блюдо от нас не уйдёт, что теперь мы будем каждый день, пока не вернёмся домой, до отвала наедаться жирнющих пилюдинских хариусов.

Ближе к сумеркам навалился такой гнус, какого мы ещё не видывали. Комарьё не боялось ни дыма, ни пламени костра. Но стократ горше доставалось от мошкары, мало того, что проклятая залепляла глаза, нос, рот, уши, – крапивным песком она расплзалась под одеждой по всему телу и жгла, жгла, жгла немилосердно и неустанно. Мы плотнее застёгивали рукава и ворота, мудрили, как спасти от укусов ноги (сапог у нас с братом не было), закутывались в дождевики – и всё напрасно!.. Жестокий бич тайги истязал нас всю ночь. Романтический ореол необжитых таёжных рек померк, невольно вспоминались рыбацкие становища на Лене,

спокойные ночёвки, раздолье каменистых берегов, где гнус не держится в таких кошмарных количествах, его уносит ленским сквозным ветерком.

Утро застало нас измученными, растерянными, но отказаться от своей мечты, заявить вслух о возвращении домой тоже не хватало духу. Погода помогла нам повернуть назад: заморочало, стал накрапывать дождик.

– Вернёмся к избушке, – предложил отец, – а там видно будет. Если разведрит, опять поплывём вверх.

Это было соломоново решение. Где-то в глубине сознания шевелилась догадка, что вверх по речке мы больше не поплывём, что это бегство, отступление перед трудностями.

Тронулись. Гоша сидел на корме, рулил. И как на смех, на первой же шивере, не успев отъехать от места ночёвки сотни метров, наскочил на камень. В мгновение ока лодку развернуло боком, вода ударила в борт, поднялась на глазах, хлынула в лодку и затопила её. Мы оказались в бушующем потоке. На наше счастье, там было неглубоко, чуть выше колена. Подхватили лодку, потащили к берегу, мимоходом проследив, как вниз по речке с большой скоростью уплывали дощечки для сиденья, туес с дождевыми червями, логушок, предназначавшийся для засолки рыбы и злополучный приёмный крюк. Пропала также рыба, пойманная накануне и лежавшая на дне лодки. Намокли телогрейки и сухари в вещевом мешке.

В избушке мы обсушились, выпались, избавленные стенами и дымом открытого камелька от гнуса, разнежились в тепле и предались обсуждению международного положения. Я, горячась, доказывал, что за двое суток, пока мы путешествовали по Пилюде, на фронте наверняка произошёл коренной перелом, и Красная Армия гонит в хвост и в гриву паршивых гитлеровцев с нашей земли. Брат, конечно, разделял мои прогнозы, но отец, как и в беседах с шорником, в знак несогласия покашливал, тяжело вздыхал и озабоченно качал головой, нет, мол, положение гораздо сложнее.

Погода так и не наладилась. Делать было нечего. Время тянулось нудно, медленно. Я читал на память стихи вроде «Жили три друга-товарища в маленьком городе Эн, были три друга-товарища взяты фашистами в плен», которых знал немало. А когда дошло до песен, то в первую очередь мы дружно, с энтузиазмом спели «Если завтра война, если завтра в поход, если тёмная сила нагрянет». Мы, мальчишки, не сомневались тогда, что Красная Армия сильнейшая в мире, что фашистам не устоять против нас, что великая и славная Победа близка.

«Полетит самолёт, застрочит пулемёт,
загрохочут железные танки,
и линкоры пойдут, и пехота пойдёт,
и помчатся лихие тачанки», —

во всю силу своих глоток надрывались мы с братом, а припев гаркали особенно громко, яростно жестикулируя:

«На земле, в небесах и на море
наш напев и могуч, и суров:
если завтра война, если завтра в поход,
мы сегодня к походу готовы!»

Отец слегка и совсем неслышно подпевал нам.

После обеда дождь перестал, но путешествовать нам расхотелось. И мы постарались уговорить самих себя для очистки совести, что без червей и приёмного крюка, без продовольствия (сухари превратились в кашу) никак не обойтись, и самое разумное – вернуться домой.

Воспоминания об этом неудачном путешествии на Рассоху много лет служили источником шуток и весёлого смеха в часы досуга, в застольных беседах семьи.

А где-то далеко на западе грохотала небывалая грозная война и пугала не только сводками Информбюро, но и нараставшими в тылу трудностями. То, что совсем недавно считалось забавой, приятным развлечением, необязательным подспорьем, теперь становилось жизненно важной статьёй семейного дохода, потому что прокормить такую ораву (сам седьмой), при мизерной норме хлеба на иждивенцев (200 граммов), одному отцу было неважно.

Если прежде мы заготавливали ягоды лишь для своих нужд, то теперь набирали как можно больше – на продажу. Но продать что-либо, а тем более такую «несерьёзную» провизию, как ягоды, на селе – дело, вообще говоря, безнадёжное. На наше счастье, напротив Петропавловска, на другом, правом, берегу ежегодно заготавливались Лензолотофлотом дрова; высоченные поленницы швырка, зараставшие летом малинником, загромождали просторную поляну над Красным яром, по отвесному скату которого спускался от нижнего края поляны дощатый лоток, поленья по этому лотку летели, как пули. Когда проходивший мимо пароход давал привальный сигнал и подворачивал к Красному яру, чтоб запастись топливом, мы с братом хватали заранее приготовленные вёдра с отобранной ягодой, прыгивали в лодку и мчались что было мочи через реку. Там же, около Красного яра, зачастую застигались баржи: страшно разбить связки барж на Чечуйских перекатах, грузовые пароходы спускали их сюда по частям, по одной, по две.

Торговать приходилось и на суше, и на воде, уцепившись за борт судна, с риском вывалиться из лодки и оказаться затыкнутым под его днище. Команда грузового парохода никогда не против витаминного блюда, если это грузо-пассажирский – торговля идёт бойчее, людей там больше, но самый лакомый кусочек – двухпалубный пассажирский: покупателей – тьма, товар нарасхват, продашь хоть сколько, лишь бы времени до отчаливания парохода хватило. С карбасов же и барж, как правило, раздавалось насмешливое: «Что, ягод? Хотите, мы вам своих продадим?» Обслуга этих плавающих сооружений, как видно, времени даром не теряла при длительных вынужденных остановках.

Поначалу мы стыдились, стеснялись, робели, а если хамоватый покупатель обличал нас в живодёрстве и навязывал свою цену, готовы были провалиться сквозь лодку, но понемногу освоились, научились торговать быстро, весело, с шуточками-прибаутками, видя в торговых вылазках своеобразную охоту. Карманных денег нам не давали, даже рублишко на кино (а кинопередвижка приезжала раз в полгода!) порою не выпросишь! А потому особенно приятно было после удачной распродажи вручать матери хрустящие червонцы с горделивым видом: вот, мол, видишь, мы не иждивенцы-дармоеды, мы взяли на свои плечи часть ваших изнуряюще-бессонных забот.

* * *

Однако никакие грибы и ягоды, никакие ельцы и зайцы не могли обеспечить полного достатка. Помощь пришла неожиданно со стороны властей: мужчин забрали на фронт, рабочих рук в колхозе не хватало, и сельсовет предложил «тарифникам» (так местные называли всех, кто не состоял в сельхозартели и жил на зарплату) и их семьям помогать убирать урожай, конечно, не даром. Однако служащих на селе было не густо – учителя да связисты, ну ещё фельдшер, рабочих – и того меньше: в продснабе, магазине и маслозаводе ровным счётом набиралось с десятков человек. Отзывчивей других оказалась наша семья, потому что мать из крестьян, отец тоже с 20-го до 30-го года землю пахал, хлеб сеял наравне с потомственными хлеборобами. Трудиться с темна до темна до кровавого пота, лишь бы не жить впроголодь, лишь бы не морить детей, – таково было твёрдое правило у родителей. О, как они презирали тех интеллигентов-белоручек, у кого «на брюхе шёлк, а в брюхе щёлк»!

Приработок в колхозе – это очень кстати, тем более что оплачивать будут хлебом, по трудодням, а хлеб, по народной пословице, всему голова. Глупо было бы сомневаться и колебаться, за чем вернее кинуться: за караваем, скажем, или за грибами, кинуться следует за караваем, но и грибы, по возможности, не упустить. И вообще, расчёт расчётом, а призыв властей в любом случае нельзя сбросить со счетов. Так обстоятельно толковали родители на долгом ночном совете, как это было у них заведено.

С колхозной работой, к слову сказать, мы с братом познакомились ещё до войны. В сенокосную пору родители по собственному почину посылали нас денька на два на покос. Они долго, длинно и совсем неубедительно внушали, что нам это пойдёт на пользу. Колхозники были явно довольны такими слабыми и неумелыми помощниками, подбадривали и подхваливали нас наперебой, мы же, сгорая под беспощадным июльским солнцем, чувствовали себя каторжниками: слишком велика была разница между ребячьими занятиями, вольными и радостными, словно игра, и жёстким трудовым распорядком долгого, как год, артельного летнего дня. «Никто ведь из учителей не заставляет своих сыновей тут поджариваться, – думалось нам, – а мы что же, рыжие, выходит?! Да и зачем уметь заготавливать сено? Не колхозниками же мы будем, когда вырастем!»

О комбайнах на Лене в те годы не слыхано было. Хлеб убирали жнейками и серпами. В первый день, помню, жали пушистый ячмень у извилистой речки Захаровки, жали, помню, втроём: папа, мама и я. Им было чуть-чуть грустно и празднично: вспоминали прошлое, молодость свою. Движения у меня ещё не были отработаны, утомившись, я заспешил и сплоховал – из порезанного пальца брызнула кровь.

Мать, перевязывая его, утешала меня, ничего, мол, страшного, до свадьбы заживёт, зато останется, дескать, память на всю жизнь, и показала на своём пальце отметину, полученную в детстве тоже в первый день жатвы. С удивлением я уловил нотки гордости в её речи. Тут слёзы дрожат на ресницах, а она, оказывается, довольна тем, что у меня на мизинце левой руки будет косою серповидный рубец. Палец сильно саднило, но домой я не ушёл, продолжал работать.

Мне нравилась работа среди горячего хлебного поля, нравилось нагибаться до самой земли, опутанной повиликой-травой, вырывать с корнем пучок стеблей, круто вертеть вязку, нацепивши на голову серп, и гнать в блеске лезвия золотистую горсть, чтобы в конце подстать бросить её размашистым движением через голову на вязку снопа.

Жали, как правило, полёглый хлеб, который не взять жнейками, пшеницу жали, ячмень, овёс, а вот рожь не доводилось. Зарно, весело жать овёс, он пониже пшеницы, без колючих упругих остей, и солома, и кисть с зерном – всё мягкое, податливое, а снопы получались пузатенькие и кудрявые, как барашки. Бабы садут на снопы, бывало, закурят, про войну поведут разговоры: кому похоронка пришла, кто из госпиталя вернулся; не забудут меня похвалить:

– Ну и парень, напористой женщины жнёт! Эй, иди отдохни, Василиса!

Переименовали они меня не случайно: жнецов мужского пола не замечалось на колхозной полосе.

Порою жницы работали с песней, причём пожилые женщины заводили старинные, протяжные, из них самая близкая к современности – «Отец мой был природный пахарь», – о Гражданской войне. Девчата же любили новые, только что появившиеся песни, более живые, энергичные, отражавшие события Великой Отечественной войны: «На позицию девушка провозжала бойца», «Вьётся в тёмной печурке огонь» и «Скромненький синий платочек», который «гады фашисты сняли и бросили в грязь».

Я мог работать без передышки, и поясница, в отличие от большинства жниц, не отнималась, хотя в ту пору был я малорослым, малосильным, малокровным, да и вообще самым дохленьким, болезненным в семье. Однако ж когда требовалось кого-то куда-то за чем-то послать, то выбор чаще всего падал на меня как наиболее быстрого и старательного.

Обедали тут же, в тени суслонов, всухомятку, без горячего. На материном головном белом платке разложены огурцы, варёные яйца, варёный картофель, лучок – всего много, а хлеба чуть-чуть: аванса в колхозе не вдруг-то добьёшься.

– Что, маловато хлеба? – хитро прищурившись, спрашивает мать. – Можно добавить, вот он, родной, рядом.

Она срывает нависающие над головой колосья, трёт их на ладонях, отдувает мякину и отправляет горсточку зёрен в рот.

Теперь я не чувствовал себя каторжником на колхозной работе, возможно, потому, что для крестьянина жатва из века в век была священной, и та истовость, с какою мать и прочие женщины свершали нелёгкий этот труд, передавалась и мне, мальчишеская леность исчезала неведомо куда, ведь так хотелось сравняться со взрослыми, а лёгкая ломота в усталом теле, когда вечером возвращался с поля домой, была приятной, как награда, и так радостно становилось от мысли, что сегодня полностью выложился, что разумнее, лучше прошедший день невозможно было б прожить. И гордость поднималась в душе: я тоже кую победу над врагом!

Старшей сестры Анны с нами не бывало: она вязала снопы за жнейкой, а зимой 1942 года её мобилизовали на трудовой фронт; когда подросла, стали брать с собою на поле и младшенькую, Любку; только отец и летом не мог оторваться от школьных дел, на колхозной работе я его видел лишь раз в тот день, когда порезал серпом палец. Три сезона, пока не снялись и не уехали надолго в далёкую Якутию, мы с матерью жали серпами колхозный хлеб, и навсегда остались в памяти эти дни среди горячего хлебного поля как одни из самых счастливых, наполненных высшим смыслом.

На сенокосе было веселее, чем на жатве, но он мне казался тяжелее, потому что в июле жарче. Горластые парни-матершинники допризывного возраста лихо гоняли коней, сгребая конными граблями высухшее сено в валы, и распевали «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». В стороне стрекотала сенокосилка. То и дело раздавались радостные вопли мальчишек, наткнувшихся на очередную змею, их попадалось много – лиловых, синих, тёмных, озорники губили змей, делали целые связки, чтобы потом притащить на село, попугать девчонок, насладиться девчоночьим визгом.

Пышет жаром лицо, кровь молотит в виски взбудораженно, липнет к телу взмокшая одежда, я утираю солёные струи пота со лба, от жары и от запахов пьяный, а солнце, кажется, заклинило в середине выцветшего неба так же прочно, как перемёт Зайцева на стрелке острова, кружится голова, темно в глазах, подташнивает, но стыдно сесть в тень копны: как бы не сказали, что сын учителя лентяй и белоручка.

Наступит ли когда-нибудь время обеда?.. Ага! Наконец-то! Повар бьёт в рельсину, можно шабашить. Над становищем столбом подымается дым. Там в огромном котле клопочет мясной суп, стоит водовозка – тридцативедёрная бочка на телеге-двухколёске. Неторопливо, широко, с блаженным чувством приятной усталости в натруженных мускулах, шагают на табор колхозники, оклики, говор, смех оглашают становище. Повар здоровенным черпаком наливает дымящееся варево в подставляемые миски, мясо по норме, по одному куску, а супу – сколько хочешь. Столов нет, об удобствах никто не заботится, всяк устраивается где хочет, кто на солнце, кто в тени верб, один на колени миску поставил, другой полулёжа хлебает.

После обеда – мёртвый час, неведомо когда и кем введенный, но соблюдавшийся неукоснительно. Вдруг, без всякой команды, прекращались разговоры и смех, и визг девчат, преследуемых парнями, люди падали и засыпали кто где и на чём придётся.

Зато в леготочку было возить копны, знай подёргивай за узду да покрикивай для порядка, а лошадь – она сама понимает, куда и для чего надо идти, когда и где останавливаться. После того как отцепят верёвку, которою берётся в охабняк и передвигается копна, лошадь бежит рысью, и тебя обдувает ветерком. Работает, собственно говоря, она, а ты просто катаешься, да ещё тебе за это трудодни записывают.

К вечеру, когда жара спадала, становилось легче, но зато наваливался комар, мошка, мокрец, люди и лошади отбивались от гнуса изо всех сил. Как-то, слезши с коня, я взглянул на его морду и прямо-таки содрогнулся, ахнул от сострадания: морда коня была багровая, плотно, одна к другой, бесчисленное множество мошек облепили её и напились, наполнились кровью, словно пузырьки. Попытался отогнать – бесполезно. Тогда я не без отвращения стал давить их, по моим ладоням и бархатно-нежным губам животного текла кровь, но он стоял не шелохнувшись и благодарно смотрел на меня печальными большими глазами, безответный колхозный трудяга.

На колхозной работе я был теперь брату не ровня. В сенокос он копнил наравне с настоящими мужиками, в жатву стоял на скирдовке, молотьба подступала – кули с зерном ворочал, в сентябре грузил и возил картошку с поля – одним словом, мобилизованный на уборочную кампанию, ломил самую тяжёлую деревенскую работу, а числился в штате почтового отделения монтером связи.

Произошло это с Гошей как-то вдруг, невзначай, на шестнадцатом году жизни. После окончания семилетки ему предстояло ехать учиться в районный город Киренск. Но содержать ученика в городе по тем временам было накладно: надо одежду spravить, постель собрать, жильё снять, на питание ежемесячно посылать. Поэтому решение о продолжении Гошиного образования не могло быть принято с лёгким сердцем. Будет ли он там старательно учиться без повседневного родительского надзора? Не пойдут ли прахом денежки, выделенные из нетугого семейного кошелька?.. Сам виновник сомнений и забот из дому не рвался, но и ехать не отказывался, на вопрос, хочет ли учиться, тянул бесцветным голосом «хочу», смотрел же при этом не в глаза, а куда-нибудь за печку.

Однако наперекор многочисленным затруднениям, в каком-то радостном рисковом отчаянии родители запланировали-таки отpravку ненадёжного школьника в Киренск. На этот раз имелось в виду, у него с учёбой будет полный порядок, пора мальчишеского легкомыслия будто бы миновала. Едва ли не главным доказательством в пользу такого домысла служил Гошин рост: он уже догонял отца. В том году, помнится, мама частенько, окинув любовным взглядом своего старшего сына, восхищённо, но сдержанно, боясь сглазить, приговаривала: «Ей-ей, в дядю Ваню пошёл! Такой же верзила вымахает!»

Дом кипел сборами. На расчёты, обсуждения, приготовления, наставления изводили время и энергию без сожаления. Родители и все мы крепко надеялись на чувство ответственности: после таких затрат, после стольких наказов, просьб, увещеваний, советов, поцелуев, после всей этой великой суеты Гоша должен был, мнилось, чтобы оправдать наше доверие, вгрызться в науки с остервенением.

И мы, естественно, не поверили, когда весной с первым пароходом возвратился наш «студент» и спокойнѐхонько сообщил, что экзамены завалил, остался на осень по трѐм предметам, думали, это шутка, и ждали: вот сейчас Гоша расхохочется и выложит табель, в котором нет ни единой тройки; все как-то сразу онемели, поглупели, растерялись: как так, мы недоедали-недопивали ради его учёбы, а он... Да как он мог?! Это не просто разгильдяйство, это надругательство над всеми нами, да не только над нами... Красная Армия насмерть стояла под Москвой, народ напрягал все силы, помогая ей, а он... Чем он там занимался?! Как выяснилось позже, Гоша опаздывал на занятия, ленился ходить к товарищам за недостающими учебниками, зато частенько посещал кинотеатр, развлекался в своё удовольствие, навѐрстывал упущенное за годы жизни в деревне и много, очень много спал.

О прощении не могло быть речи. Бездельник, туеядец, предатель заслуживал жесточайшей кары. Со страхом и сознанием неизбежности справедливого возмездия все ждали, когда же наконец отец снимет свой широкий ремень из толстой бычьей кожи с тяжѐлой металлической пряжкой, но... не дождались.

И сразу почувствовали облегчение: так неприятно, так тягостно видеть избиваемого, плачущего, извивающегося от боли. Задним числом ещё и посмеялись укладкой: ну как бы это, интересно, отец принялся пороть Гошу? Даже представить невозможно: за зиму нерадивый отпрыск так сильно вытянулся, что стал выше родителя, главы семьи, на целую голову!

Держался новоиспечённый геркулес уверенно, никаких угрызений совести не испытывал и, отменяя укоры, заявил басом как о решённом:

– Учиться больше не буду. Работать пойду.

Нет, такого здоровущего и бесчувственного барбоса ничем не проймёшь. И, уж конечно, не выпорешь: отберёт ремень. Родители опустили руки.

Не скоро они поняли, что Гоша просто вытянулся, а не повзрослел. Взрослость пришла позже, в армии, где он окончил авиационный техникум, но не успокоился и в вечерней школе получил общее среднее образование, а затем, оставляя для сна лишь четыре часа в сутки, одолел-таки вуз. Даже внешне с годами, после двадцати лет, он изменился до неузнаваемости: шарообразность головы бесследно исчезла, лицо стало продолговатым, бледным и нервным, нос – тонким, длинным и плюс ко всему с маленькой горбинкой, а волосы – светлыми, мягкими и волнистыми!

Вечером на церковном дворе произошла встреча с друзьями-товарищами.

– Ого! Какой ты, Гошка, стал! С тобой, пожалуй, теперь не поборешься! – закричали ребята в изумлении и стали щупать бицепсы брата и подтыкать его, а он смущённо посмеивался и снисходительно поглядывал на них сверху вниз. Расшевеливался нехотя, наиболее назойливых хватал за ноги и держал вниз головой.

Петька Жарков стоял в стороне, небрежно подбоченясь, навалившись на одну ногу, и делал вид, что происходящее его не касается. А ребята всё поглядывали на него с надеждой и любопытством и пока что не раззадоривали, но дело шло к этому. Петька и сам понимал, что общество не допустит неопределённости, рано или поздно придётся доподлинно выяснить соотношение сил.

Я млел от гордости за своего брата и заранее злорадствовал в душе над Петькиным поражением. Жарков ринулся в бой неожиданно и яро, но боя не получилось. Гоша схватил его под мышки, мотнул в сторону, «матырнул», как говорили на селе, Петькины ичиги взметнулись, прочертили в воздухе круг, и вот он уже лежит на земле, причём брат не наваливается на него сверху и не требует признания своей победы, но отпускает тотчас в знак того, что бороться, собственно, не с кем.

И все подумали: «Ну, теперь очередь за Колькой Захаровым. Устоит, не устоит?..» Захарова в тот вечер в компании не было. Столкновение случилось через несколько дней на береговом бугре, напротив колхозных конюшен. Брата пытались побороть скопом, но он не давался, расшвыривал нападавших. Всех измял, извалял, разогнал – и вдруг появился Колька Захаров.

Гоша стоял на склоне бугра в том месте, где пологость переходит в крутизна, он стоял, можно подумать, расслабленно, беззаботно, посмеиваясь, а Колька матёрым кабаном пёр на него сверху, он рассчитывал, по-видимому, с размаху опрокинуть противника навзничь. Стычка свершилась до того быстро, в долю секунды, что не все успели увидеть и понять, что и как произошло. Гоша резко и сильно уклонился туловищем влево, так как Захаров бежал не просто сверху, а с правой стороны, и когда Колька наткнулся на согнувшуюся фигуру брата, тот разогнулся и кинул Захарова через колено под бугор. И утвердил тем самым за собой славу сильнейшего среди сверстников.

Но ничто не могло надолго оторвать нас от охоты, от рыбалки, от Лены. Это был наш труд и отдых, забота и радость, тревога и наслаждение.

Вторую половину лета мы обычно рыбачили на стрелке острова и в протоке, но всегда ниже мельницы, расположенной против середины длинного острова. Она стояла на безымянном ручье, тот самом, подле которого шла тропа на знаменитый Чистый бор, славившийся

брусникой. Ручей был довольно полноводен, однако речушкой всё-таки не назовёшь: если разбежаться, то его можно было перепрыгнуть.

Мельница с зелёным лужком, окаймлённым рябинами и черёмухами, заслуживает особого разговора. Я любил бывать там с отцом в зимнюю пору. Старое здание из толстых сосновых брёвен, дрожавшее мелкой непрерывной дрожью, представлялось мне хранилищем неисчислимого количества тайн; с восхищением я взирал и на бойко вращавшиеся умные жернова, и на глухие стены, обросшие нежным мучным бусом, и на гладкие грани бункеров, отшлифованные непрерывным скольжением зёрен, а когда заглядывал в приоткрытую дощатую дверь на обросшее зелёной тиной громаднейшее мельничное колесо, ворочавшееся с грозной медлительностью, то так и ждал, что из переплетения массивных спиц, обсыпаемых сверху крупными тяжёлыми брызгами воды, высунется плутовская рожица рогатого чертёнка и покажет мне язык. Помольщики съезжались, как правило, из разных деревень, и потому разговоры не затихали круглые сутки. Сельские новости перемежались с политическими дебатами, анекдоты – со страшными колдовскими байками, но более всего повествовалось охотничьих историй.

Протока тянулась на добрых два километра и была намного уже фарватера. Ширина её в разных местах менялась, и течение становилось то быстрее, то тише. Наиболее широкой и спокойной протока была в своём нижнем конце, а у самого острова, по-за мысочками, вода совсем не двигалась. Тут, в ямах-омутах с илистым дном, водились матёрые налимы, только добывать их было нелегко: глубина страшнейшая и коряг затонувших полно.

Полуострова, мысы, мысочки... Рыбак никогда не останется равнодушен к мысочку, самому пустяковому на вид, потому что замечено: где мыс, там и залив, а где залив, там и рыба. Можно подумать, что рыба устаёт бороться с течением и потому ищет тиховодье. Однако обширные глухие заливы, к тому же бедные растительностью, зачастую удручающе пусты. Зато на границе быстрины и улова, там, где суводь, то есть течение воды в улове в обратную сторону, гаснет, где воронки-водоворотники сосут с поверхности воды в глубь листья, мусор, оплошавших насекомых, – вот тут обязательно толчётся рыбёшка. У коренного правого берега, где ток воды всюду напорист, рыболовы устраивали, чтобы приманить и поймать рыбу, искусственные заводи: забивали в дно колья по одной линии поперёк течения, а промежутки заполняли сосёнками, какие помохнатей.

Вольготно было в протоке! Поставим перемёты, закидушки, корчаги, а сами на остров махнём уток по озёрам гонять. Глядишь, и подстрелим какого-нибудь чирка. Или костёр разведём, шашлыки жарим. Удочки насторожим. Попавшихся ельцов сажали в лунку, вырытую около воды. Любопытно, что рыба в лунке тычется в сторону реки, чувствует родную стихию.

В конце июля начинается ход ельца в корчаги и морды, на крючок осенью ельца нипочём не поймаешь. Морды мы так и не научились плести, зато корчаг настряпали целую выставку. Резка зелёных, коричневых, багряных прутьев в зарослях ивняка, гладких, блестящих, словно бы покрытых лаком, неторопливый процесс плетения корчаги, переплетённый с мечтами, сколько и какой рыбы в неё попадёт, горьковато-терпкий дух подвяленного прутняка, – всё это нам нравилось чрезвычайно.

Более незамысловатую рыбалку трудно придумать: навешиваешь на корчагу камни-грузила, кладёшь внутрь прикормку – корочки хлеба, ломтики сырого картофеля, намазываешь воронкообразный вход тестом и ставишь хвостовиком вверх по течению. Торчать поблизости нет никакой необходимости, можешь грибы собирать, ягоды грести, в колхозе трудодни зарабатывать, вечером же, раз в сутки, к ловушке своей наведываться.

Переплывёшь реку, отыщешь по приметам то место, где корчага поставлена, подденешь шестом верёвку, протянутую к берегу, но не до самого берега (иначе могут украсть), потянешь – корчага легко снимется с места, коричневым боровом притулится к лодке. Теперь самый интересный и важный момент – поднять и внести её в лодку. Напрягаешься и – р-раз!

Возмущённый плеск на миг ошарашивает. Обрадованный, с трудом переваливаешь корчагу через борт. Пленники продолжают неистовую пляску-стукоток. Есть, есть добыча! Скорее вытаскиваешь травяную затычку в хвостовой части и вытряхиваешь содержимое – чистое живое серебро заливаает дно лодки.

Так вот, корчаг этих, как я уже сказал, мы не поленились – наvertsели-накрутили больше, чем нужно, и поначалу настораживали по пяти штук за раз, но опыт показал, что рыбачить ими – только хлеб переводить, а хлеб в те трудные военные годы был очень и очень дорог, во много раз дороже рыбы. Почему-то недобычливым оказалось наше прутяное хозяйство. Стали подсчитывать и пришли к выводу: нет, овчинка выделки не стоит. Для семейного бюджета не прибыток, а явный разор.

Услышали про стеклянные корчаги, рыба в них будто бы лезет по-сумасшедшему. В детстве-то малявок бутылками ловили, а бутылка, по существу, стеклянная корчага в миниатюре, – бредилося нам. Загорелись идеей и стали осаждать просьбами знакомого столяра Телёнкова, большого мастера в своём деле. Он был дружен с нашей семьёй, не раз ел рыбные пироги материнского изготовления, а потому согласился и соорудил из дерева и стекла невиданное сооружение, похожее на большой аквариум и отчасти на гроб. Однако зря были загроблены стёкла и силы: диковинное устройство не оправдало наших надежд.

Выручала, можно сказать, кормила нас одна-единственная корчага. Она имела свою историю. Однажды Гоша вытаскивал закидушку, но подавалось туго, что-то тяжёлое ташилось.

– Налим, должно быть, здоровенный попался, – смеялся брат. – Тяжёлый, как полкуля картошки, и ленивый, как старый кот, ни разу, ядрёна палка, не дернулся!

И вместо налима вытащил затонувшую корчагу, принесённую откуда-то сверху: камней мы на ней не обнаружили, вывалились, по-видимому, из верёвочных петель. Она была крупнее наших, сплетена, как видно, мастером, плотная, крепкая, аккуратная.

Опробовали и оценили трофей, конечно, не сразу, не в первый день. Привезли домой и забросили, как водится, на вышку, не подозревая, какое счастье нам привалило. Для сравнения годился разве что волшебный горшок из сказки, горшок с кашей: сколько ни ешь – не убывает.

Рыбы в этот подарок Водяного, хозяина Лены, как мы шутя окрестили чудодейственную находку, неизменно набивалось не менее, чем в пять наших уродин, вместе взятых. Знал, определённо знал секрет рыболовного искусства безвестный творец удивительный корчажки. Мама, помнится, не раз, довольная верными уловами, бормотала о заговоренности благоприобретенной ловушки.

В корчагу, поставленную в реке, лезет исключительно плотва. Помню, правда, случай, когда мы обнаружили в ловушке аршинного налима. Он заметил, надо полагать, рыбу, хотел обворовать нас, забрался внутрь, слопал ельцов и сам попал в уху. А однажды щука вознамерилась пробраться в корчагу, но горлышко оказалось узковато для неё, и она прочно застряла, так, что хвост торчит наружу, а голова внутри! Надо себе представить, какого страха натерпелись бедные ельчики, в течение многих часов наблюдавшие в непосредственной близости кровожадную шучью пасть!..

К спортивной рыбалке корчажный промысел не имеет, конечно же, никакого отношения, но мы с братом были счастливы хоть на часик отвлечься от прочих дел, счастливы вновь очутиться в лодке и, ритмично работая лопашниками, бездумно смотреть за борт на зеленоватую воду с уходящими в жуткую гипнотизирующую глубь радужными переливчатыми лучами. Да и не приходилось, по правде говоря, теперь чем-либо брезговать, война заставляла вырабатывать хозяйственную расчётливость, и мы с братом гордились тем, что часть добываемой нами рыбы родители меняли на молоко.

Уйма-уймища было ельца осенью в рдестовых зарослях на стрелке острова, смотришь с лодки: так и мелькают в траве, так и ходят руном по всем направлениям. Особенно интересно

наблюдать за ними в «окно», то есть в просвет, чистый от водорослей до самого дна. Однако в корчаги тут они шли неохотно.

Добычливых мест в протоке мы знали немало, но корчажка-кормилица стояла обычно на стремнине, что находилась на полпути от стрелки острова к мельнице. Берег тут был булыжистый, крутой, с резко нарастающей глубиной. И почему-то в пору светлой воды эту быстринку обожали и ельцы, и окуни, здесь нам было не в диковинку снимать с перемета килограммовых, величиной с тарелку, окуней.

Осенний жор окуня совпадал с началом уборки зерновых в колхозе, и потому в военные годы удавалось рыбачить в протоке целыми днями, на полный, так сказать, размах только в дождливую, нерабочую пору. Впрочем, один из переметов, наживлённый ельцами и мандырышками, мы там держали постоянно и проверяли заодно с корчагой.

Замечательная рыба – окунь, красивая рыба: яркие красные плавники, зелёные поперечные полосы, веер грозных игл по горбату хребту. Радостно почувствовать в руке остревенело-резкие рывки хищника, радостно увидеть в речной глубине его воинственную тигровидную полосатость. Никакая другая рыба не вызывала у нас такой же безоблачно-игривой весёлости: «окунёк», «окушок», «окунишка», «окунище» – так любовно, по-разному мы называли добытых окуней.

Вообще-то, окуни и летом, когда никто не хочет клевать, частенько нас, молодцы, выручали. Окунь ещё тем хорош, что наживку берёт без стеснения, уж глотанёт – так до хвоста утянет крючок, еле выручишь. Особенно нас сместило, когда, бывало, подготавливая перемет к установке, пускаешь лесу с приткнутой к берегу лодки вниз по течению, и она, ещё не намокшая, плывёт подле берега с наживлёнными крючками – и вдруг чувствуешь резкие недовольные подёргивания, более сильные, чем могла бы сделать мандыра: оказывается, это уже успели нападать мелкие окуньки, такая нетерпеливость нам, разумеется, очень нравилась.

Последние три года мы жили в самом центре села, около церкви, в бывшем поповском доме. Зимние вечера длинные, а керосин на вес золота, достать его можно было лишь на нефтеналивных баржах, идущих в Якутию. Экономя керосин, мы жгли не семилинейную лампу, а коптилочку ёмкостью полторы столовых ложки, свету эта коптилка давала не больше, чем обыкновенная свеча. И зажигали её, чтобы готовить уроки, не сразу с наступлением темноты, а только тогда, когда женщины вдоволь напоятся песен.

Вечерние посиделки были в ходу. У нас на кухне тоже собирались соседки, рассаживались на лавках, стоявших у стен, на табуретках около русской печи и запевали проголосные песни. Пели в темноте. Иногда зажигали на шестке лучину, пламя её, то бурно вспыхивая, то сникая, беспрестанно вздрагивало и неровно, капризно освещало отрешённые от будничности лица поющих.

Мы, дети, догадывались, что для развлечения наши матери не стали бы так часто собираться, зная, была у них такая настоятельная потребность. В особенности в этом нуждались женщины, получившие похоронки. Можно было тут же и всплакнуть украдкой, благо в темноте не видно. Торжественно гремела песня, величавая, непобедимая, как гордый «Варяг» над погибельной морской пучиной, и уносила далеко-далеко, в удивительный сказочный мир, где не бывает смерти, где, взломав решётку, убегаешь с царской каторги, вместе со Стенькой Разиным ищешь богатства и воли, вместе с Ермаком завоёвываешь Сибирь.

Расходились певицы по домам умиротворённые, благодарные друг другу и ещё кому-то; так больные выходят от хорошего врача, сумевшего убедить, что надо не паниковать, а надеяться и бороться.

В то время люди не были запичканы музыкой: ни транзистора, ни телевизора (даже слов таких не существовало), ни радио, а если в какой семье и жил патефон, так пластинки крутили только по праздникам. Гармошка да частушки женихающихся парней и девок, гуляющих вдоль улицы села, – вот тебе и вся музыка, вся эстрада. Поэтому безыскусные песни солдаток достав-

ляли нам, детям, огромное наслаждение. И хотя репертуар исполнявшихся песен не отличался разнообразием, это не отбивало желания слушать их вновь и вновь.

Недоброе сердце могло бы позавидовать нашей семье: отец по возрасту не подлежал призыву в армию, а мы с братом ещё не доросли, так что никто из нас в окопах не сидел, в атаку не ходил, смертельной опасности не подвергался. И всё же матери было о ком плакать, тосковать, тревожиться: старшую сестру Анну мобилизовали в школу ФЗО, и она слала из Киренска неутешительные письма: кормят скудно, в мастерских холодно, токарное дело не даётся. Забегая вперёд, скажу, что всё ж таки Анна освоила его и до конца войны работала в Иркутске на оружейном заводе, вытачивала корпуса для артиллерийских снарядов.

Сельские люди, и без того приветливые, общительные, теперь сильнее потянулись друг к другу. Испытывая непреодолимое стремление как можно чаще проверять, правильно ли понимают происходящее в мире, люди лишний раз удостоверялись в том, что составляют единое целое. В клубе изредка читались лекции о международном положении, но в тысячу раз больше собраний, митингов и дискуссий о том, скоро ли Гитлеру капут и что для этого надо делать, проводилось стихийно ежедневно и ежечасно там, где по какой-либо надобности сходилось несколько человек: в колхозной конторе на раскомандировке, на мельнице, на полевом стане, на крыльце магазина в ожидании его открытия. Когда в школе организовали курсы по противовоздушной и противохимической обороне, так даже неграмотные и тугие на ухо деды потащились на эти курсы и внимали преподавателю, выставив бороды, серьёзно и важно, правда, пересказать услышанное не могли: память в преклонном возрасте дырчатая.

А с какой охотой готовили тёплые вещи для фронтовиков! Зимние дни коротки, работы в колхозе и дома неупорот, керосина нет, однако ж ухитрялись бабы, вязали носки, рукавицы, перчатки. Сколько возвышенно-праздничного было в этих хлопотах! Мы, школьники, прясть и вязать не умели, но хоть как-то приобщаться к великому делу нам тоже очень и очень хотелось, мы увивались около матерей и упрашивали дать покрутить веретено, но самое большее, что нам доверяли – это шиньгать, то есть растеребивать шерсть.

Тёплые вещи сдавали в сельсовет, там их упаковывали в посылочные ящики и подводой отправляли в Киренск. Адрес на всех посылках значился один: «Действующая армия». Для брата-свата можно отдельную посылочку соорудить, но стыдно отделять свой род от других: все они, кто там в окопах мёрзнет, родные.

У колхозников свои овцы. Где же нам, учителям, взять пряжу?.. Мама догадалась растеребить подник, то есть матрац из верблюжьей шерсти, купленный в Монголии ещё нашим дедом до Октябрьской революции. Пыль от расшиньганного войлока щекотала в носу, мы чихали и за однообразной работой рассуждали, вот, мол, какой у нас подник молодец-удалец, мы столько лет на нём спали-похрапывали, но не подозревали, что он не тюфяк, а грозное оружие, равное противотанковой пушке, что он в виде носков и варежек поможет нашим славным воинам угробить Гитлера, закопать изверга вместе со всей грабительской сворой и в ту могилу, как поётся в частушке, кол осиновый забить.

Сбор тёплых вещей для фронтовиков был делом добровольным и касался не нас, а родителей наших. А вот заготовка шерсти – это уже наша, пионерско-октябрятская, кампания и – строго обязательная, как экзамены. Каждый школьник должен был заготовить и сдать 400 граммов шерсти, любой шерсти, не обязательно овечьей. Для пимокатного производства годится и коровья, и лошадиная шерсть, было б что валять-катать.

Ближе к весне, когда воздух после обеда начинал заметно разжижаться, скотницы выпускали из длинных хлевов во двор рогатое стадо, и коровы с удовольствием, прищурив глаза, подставляли солнцу необъятные бока и нажёвывали свою жвачку. Тут мы и заготавливали шерсть. Бурёнкам хоть бы что. Иной раз хлобыстнет хвостом по плечу, но не со зла, а просто так, ненароком. Возможно, им даже приятно было освободиться от лишней, вылинявшей шерсти.

Кропотливое и нудное это занятие – по щепотке скрести волоски, и если одному – так со скуки сдохнешь, а компанией – ничего, терпимо. Общипываем коров и переговариваемся, планируем, куда играть побежим: на овин, на каток или на берег кататься на салазках.

На конюшню нас не пускали, старики там сердитые, с ними не сговоришься. Да и нечем там было поживиться: конюхи скребли, чистили лошадей щётками чуть ли не ежедневно, и шерсть по волоску осыпалась наземь, терялась попусту. Но коней мы тоже теребили, только не своих, а якутских.

Из многоснежной Якутии через село всю зиму шли табуны коней. Низеньких, широко-костных, длиннохвостых. Они двигались спорной равномерной рысью и не рассыпью, а вытянутыми в одну линию цепочками. Умно придумано! Потеряться, выбиться из строя тут никак невозможно: уздой конь привязан к хвосту впереди бегущего, а его хвост, в свою очередь, тащит того, что сзади. На переднем коне сидит якут, погонщик, закутанный шарфом до глаз, если это высокорослый человек, ноги ему приходилось подгибать, чтоб не волочились по дороге, а у самого заднего коня хвост замечает след за собою.

Катались однажды с бугра ватагой как раз около конюшен, там береговой скат круче, чем в других местах, катались на больших саях, выброшенных с конюшего двора, затаскивать на бугор эти тяжеленные сани надо всем скопом, зато и весело же потом лететь на них с горы – дух захватывает!

Уже темнело, когда подрысили к конюшне четыре связки якутских лошадей. Конюхи запустили их во двор, вынесли, раструсили охапки сена и повели погонщиков на ночлег.

Видим: надзора нет, потихоньку пробрались во двор к коням, уж больно непохожим на наших, стали ощупывать их, дивясь мохнатости. У наших коней шерсть мелконькая и плотно прилегает к телу, будто прилизанная, а у этих длинная и топорщится, как на дикобразах, все волоски дыбом стоят. Кони – а мохнатей медведя! Чудовина!

Вот тогда-то Кольке Захарову и пришла идея обскубить этих невиданных лохмачей-мохначей. Я запустил пятерню в гущину шерсти, а иней и намёрзшие сосульки холодят пальцы, но волоски крепко сидят, не отрываются. Мы поискали и нашли в завозне скребки, принялись за дело. То ли устали коняги, то ли от природы были смирными, не знаю, но только они спокойно давали себя общипывать, не лягались. Федьке Красноштанову один раз прилетело – по валенку, не больно.

Когда смотришь в обледеленое окно или издали, якутские кони кажутся сивыми из-за обындевелости, а на самом деле, когда вот так вплотную стоишь и обтерхиваешь, видишь, что они разной масти: и вороные, и гнедые, и буланые.

Мы уже натеребили и напихали по карманам мокрой, остро пахнущей потом шерсти, когда пришёл конюх дядя Харламий, с бордовым родимым пятном во всю левую щеку, и прогнал нас, ещё и пристыдил, совести, дескать, нет, раздеваете гостей; им ещё бежать да бежать до Иркутска, толковал он, а потом, как перевезут их по железной дороге на фронт, тоже жизнь несладкая пойдет: доставлять снаряды на батареи, вывозить раненых с поля боя, таскать походные солдатские кухни – и всё это под вражеским огнём.

Завидев на нашей улице очередной табун якутских мохначей, мы непременно пересчитывали животных в каждой связке, а потом складывали, подсчитывали, сколько прошло их за день, и, довольные, делились соображениями: ну, уж теперь-то фрицам крышка, сомнут, затопчут их якутские лошади, они хоть и низенькие, зато грудастые, сильные, выносливые.

Долго не могли понять, почему связки неодинаковы: в одной восемь, в другой – девять, но не больше десяти коней. Оказывается, в начале этого грандиозного перехода их было строго поровну, по десятку в каждой цепочке, но не все выдерживали безостановочный бег изо дня в день сквозь туманы, пурги и заносы, иные падали на ходу. Таких, не мешкая, отвязывали и оставляли на дороге, не заботясь о спасении: ни кормов, ни лекарств с собою у погонщиков не было. Да и падали кони, как правило, замертво.

В одну из военных зим как раз под Красным яром лежал труп якутского коня, и жители села наведывались туда за мясом для собак. Мы с Гошей проходили однажды на лыжах мимо, видели его: шкура чёрная, как на медведе, а мёрзлое мясо, искромсанное топорами, кроваво-багровое.

Но не слышно было, чтоб замерзали погонщики: якуты – они к холоду привычные.

Наша давняя жгучая рыбацкая мечта исполнилась в свой срок: мы поймали тайменя! Это случилось поздней осенью, когда ельцы в корчаги уже не лезут, мандырышек тоже не видать: все забрались в уютные ямы на зимний отстой. Живцов отлавливали на озёрах, что в пойме Захаровки и около леса, за колхозными полями. Иные озёрки до смешного малы, величиной с добрую лужу, но гальяны и караси в них всё равно есть. Продолбишь лунку (в эту пору озёрки уже ледком закованы), привяжешь к корчаге палку и опустишь её на дно. Намазывать горлышко тестом нет надобности: водоёмчик мал, обитатели если не с голода, так ради любопытства заберутся в ловушку в достаточном количестве.

Перемёт наш стоял ниже стрелки острова, на сливе, там же, где летом добывали шук, а теперь успешно тягали налимов. Я поднял со дна кошкой хребтовину и сразу почувствовал далёкие могучие удары. Я мог прозакласть голову, что на перемёте крупный таймень, но на вопрос брата кисло поморщился и пренебрежительно просипел:

– Да так, возится кто-то еле-еле, налим, конечно, сопливый, кому ж ещё быть?

Гоша подозрительно, почти враждебно сверлил меня взглядом, не веря ни словам, ни хитрецким ужимкам моим.

– Бери весло! – он перешёл с кормы, взял у меня из рук хребтовину перемёта, стал неспеша перебираться по нему вниз, а я рулил.

– Нет, что-то есть! – сказал он многозначительно. Я дипломатично промолчал, не стал спорить.

В такие мгновенья боишься произнести само слово «таймень», точно это может спугнуть желанную добычу, преждевременно сорвать её с крючка. А между тем около лодки забурился породистый налимиче под цвет тёмных глубинных камней. Гоша ловко поддел его крюком, забросил в лодку.

– Вот кто нас взбаламутил! Ну и умора! Хор-рош, ничего не скажешь! Барахтается, как путный. У-у, скользкая морда! Куда, куда ползёшь, холера? Как дам сейчас обалдушкой по голове!

Так потешались мы наперебой над налимом, стараясь обмануть друг друга, убедить, что на перемёте больше ничего нет, твёрдо уверенные, что налим – это лишь начало, так сказать, прелюдия славы, увертюра к симфонии, что те удары, которые передавались по хребтовине перемёта, производил не сонливый налим-увалень, а таймень, красавец-богатырь.

Спустились по перемёту ещё ниже, и вдруг он, чуя приближение человека, всплыл на поверхность и возмущённо ударил хвостом по воде, шлепанул громко, яростно: ваш вызов, дескать, принял, теперь держитесь, драться буду до последнего!.. И мы этот воинственный знак тайменя, уверенного в себе молодца-удальца, поняли и приняли точно так же, как солдаты – сигнал полковой трубы, зовущей в атаку. От волнения и сознания, что настал редчайший и, быть может, счастливейший момент в нашей жизни, мы вмиг стали немножечко ненормальными.

Я набросил на уключину петлю из хребтовины перемёта, поставил, таким образом, лодку на якорь и принялся подтаскивать тайменя, однако мне это плохо удавалось, у него было достаточно сил, чтобы держаться на таком почтительном расстоянии, что мы никак не могли увидеть, каков он. Десятикилограммовый таймень в воде, в своей стихии, так же силен, как здоровый крепкий мужик на суше. Срывался с места таймень каждый раз неожиданно и резко, причём броски его были настолько стремительными и затяжными, что я еле успевал травить свободный конец перемёта, рискуя изуродовать пальцы крючками.

Время шло, положение не менялось. Я тянул к себе, таймень – к себе. Как в спортивных состязаниях на канате, мы соревновались с переменным успехом, и конца этому противоборству, казалось, не будет. Удастся ли вообще когда-нибудь подвести его к лодке?.. И хватит ли сил справиться с ним с помощью крюка?.. Пятикилограммовую щуку в тот раз едва-едва одолели, что же теперь-то нам делать?

У нас с собою было ружьё, и Гоша решил стрелять: пуля вернее всякого крюка и сачка. То была не наша выдумка, не отсебятина, жаканами сражают, мы знали, не только медведя, но и тайменя. А что? Вполне закономерно, логично: тот хозяин тайги, этот – хозяин реки, могучий в своей стихии, достойный для противоборства противник.

Мы смотрели вниз, надеясь увидеть рыбину вблизи, около лодки, но гигант речных глубин всплыл поодаль, метрах в десяти, всплыл предусмотрительно не на самую поверхность, а чуточку не касаясь её, удивительно светлый в утренних лучах солнца, как бы светящийся изнутри, весь какой-то розовый!.. Мы вполне могли и не заметить его, да так уж подфартило.

Помню, я не восхитился красотой тайменя, а испугался, испугался его хитрости, осторожности, свирепости, мощи, меня, помню, привела в смятение мысль, что это существо (да, именно существо, потому что назвать его рыбой язык не повернётся), большое, почти как человек, соображает тоже почти как человек, незаметно подкравшись, оно разглядывает, размышляет, насколько опасны враги, и планирует, каким образом спастись от беды.

Брат же, как истинный охотник, не терял времени на зряшные переживания, в два прыжка взбежал он на высоко торчавший нос лодки и с высоты своего роста наудачу, навскидку выстрелил. Столб огня полыхнул из ружья. Таймень негодуя всплеснулся и исчез.

Второй выстрел также оказался неудачным...

Наконец, мне удалось подвести тайменя близко к лодке. То ли измучился он, то ли был слегка оглушён выстрелами, но только хищник явно потерял осторожность. На глубине метра от поверхности прямо под нами медленно двигался он, бронзово-тёмный со спины. Возьмёт ли пуля его на такой глубине?.. Существует поверье, что пуля бессильна в воде, поражает якобы лишь на два-три вершка от поверхности. Дуло ружья почти касалось воды, грохнул выстрел, таймень рванулся вверх по течению, исчез под лодкой, я, нервничал, швырял витки хребтовины за борт, как вдруг натяг прекратился, шнур перемёта мёртво обвис, колеблемый течением. «Сорвался! – ужасная догадка сжала страхом сердце. – Нет, нет, только не это!»

– Всё! Готово! – закричал Гоша.

– Что готово? – охваченный паникой, я не уловил по интонациям его голоса, что несёт мне это «готово»: жизнь или смерть.

– Обернись!

Я обернулся: таймень медленно подплывал к нам, бездвижный, точно сутунок лиственницы, в спине его зияла большая рана и слабо сочилась кровью. Брат схватил его за голову, втащил в лодку. Мы долго любовались переливчато-радужной тушей его, крупной, гладкой, будто полированной, головой, огромной пастью.

Военное дело считалось тогда важным предметом в школе. Мы, мальчишки, изучали его с увлечением, самозабвенно, не щадя каблуков, топали, маршировали на плацу на строевой подготовке, тренировались в стрельбе из мелкокалиберки, настойчиво отрабатывали приёмы рукопашного боя, с азартом ширяли деревянным штыком в «фашиста», набитого опилками, и бойко, уверенно разбирали и собирали по винтику боевую винтовку образца 1891/30 года.

Тяжела была для нас эта винтовка и так длинна, что когда «боец» полутораметрового роста брал её в руки, то не мог не догадываться, как он смешон рядом с нею, украдкой поглядывал на кончик штыка над своей головой, до которого рукой не дотянуться, и невольно предавался тоскливым размышлениям, что родился поздно, на войну не попадёт, не успеет вырасти.

Военруком у нас был фронтовик, демобилизованный по ранению, Виталий Николаевич, высокий-высокий, и такой сдержанный – улыбался одними глазами. О дисциплине на своих уроках военруку не приходилось заботиться: уважали его, как самого директора школы.

Мы подлизывались к Виталию Николаевичу, вымаливая, как шоколадную конфетку, рассказов о фронте, о боях, о самом себе. Никто из нас не сомневался, что на войне наш любимый учитель, выражаясь языком газет того времени, «совершал чудеса героизма». Были и лобовые наивные вопросы, например: «Сколько немцев вы убили на войне?» Или: «Приходилось поддевать фашиста на штык и кидать через голову?» Нам думалось, что такому верзиле это раз плюнуть, как гальяна из речки выдернуть. Были и более хитроумные манёвры с целью вывести хоть что-нибудь об участии Виталия Николаевича в Великой войне.

Но насколько мы были неутомимы в попытках выудить из военрука эти сведения, настолько же он оставался бдителен и твёрд в решимости не сообщать детям ничего о своём боевом прошлом, и если иногда рассказывал о передовой, то о себе даже не упоминал, как будто там был не солдатом, а корреспондентом газеты.

Виталий Николаевич задумал провести военную игру по образцу, взятому из журнала «Вожатый», но мы морщились: опять деревянные винтовки, деревянные гранаты... Ну зачем нужно это ненастоящее оружие?.. Драться макетами всё равно не разрешат, уж лучше совсем без них. И ещё нам не по вкусу пришлись судьи, которые должны были определять, кто «убит», кто «ранен», чья победа. Никто не согласится быть судьёй, доказывали мы, это неинтересно, а «убитые» и «раненые» в горячке «боя» запросто могут надавать по шеем судьям, вот тогда появятся заправдашные раненые. Спорили долго, и в конце концов мы настояли на своём.

В выходной день собрались на школьном дворе. Было шумно, суетно, ребята заранее сбились в кружки, уговаривались держаться вместе, чтобы не пришлось воевать против друга или родного брата. Виталий Николаевич старался не разделять эти дружеские компании и рассортировывал нас на две равные по числу и по силе группы. Не обошлось без споров, зазываний к себе силачей, иные метались, перебежали из одного лагеря в другой. Мы с Петькой ревниво следили за тем, чтобы не очутиться в одном стане.

Но вот команды выстроились двумя шеренгами лицом друг к другу, и Виталий Николаевич назначил старших. «Главкомандующим» той, противостоящей, шеренги стал Петька Жарков, а нашим предводителем был назначен Кирилл Бояркин, парень из деревни Сполошино, бугай-бугаём, настоящий мужик, его вскорости, весной, на войну взяли, шестой класс ему так и не удалось окончить. В Петропавловской школе было много переростков – ребят из дальних деревень.

В руках военрука два свёртка повязок, красных и синих. На школьном дворе вмиг водворилась напряжённая тишина: будет, наверное, брошен жребий, никому ведь не хочется ходить в синих. Но Виталий Николаевич решил по-иному: предложил капитанам команд метнуть по три гранаты в окоп, кто метче, тот и станет командиром красных.

Окоп, вырытый около высокого забора, был занесён снегом наполовину. Мы тренировались метать гранаты на 20, 25, 30 метров, но сегодня особый случай, и военрук отмерил ажно 40 шагов, 40 своих громадных шагов, а потом вернулся к окопу следить за меткостью попаданий.

Бояркин забросил в окоп две гранаты, а Жарков только одну. Мы, команда Бояркина, дико завопили от восторга и весь день потом во время «боёв» орали: «Глите, глите-ка! Синие посинели от холода! Лупи синих! Наставим синим синяков!»

Надели на рукава красные повязки и повалили гурьбой на колхозный овин. Бояркин – что каланча, шагает широко, важно, а к нему и сбоку липнут, и спереди забегают, в глаза засматривают. Только и слышно:

– Киря, а мы, знаешь, как их? Мы на них неожиданно!..

– Киря, а я буду командиром взвода? Во – видишь? Это всё мои бойцы! Мы – в огонь и в воду!

Штаб решено было устроить на овине. Овин – любимое место для игр в зимнее время, после того как закончат обмолот колхозного хлеба. Он и от ветра, от снегопадов защищён, и бороться, кувыркаться там замечательно: падать на солому мягко, не ушибёшься.

Началось «формирование воинских частей». Чувствовался избыток самозванных командиров. Чтобы зря не бузотёрить с ними, Кирилл назначал их заместителями и комиссарами.

– А ты чего, Вася, ждёшь? – спросил он меня. – Может, и тебе дать отряд?

– Не, не надо, я разведчиком буду.

– А что? И верно! Без разведки ж никак нельзя! – загорлопанили ребята. – А Ваську синие ни в жисть не догонят. Это ему в самый раз – разведчиком! Киря, назначь командиром разведвзвода.

– Ну ладно. Пусть. Назначаю. А кто ещё хочет в разведку?

Вмиг вокруг меня образовалась толпа: всем вдруг ужасно захотелось стать разведчиками. Рассвирепевшие командиры силой водворяли в строй своих бойцов. Из всех желающих оставили в разведке четверых, на операцию разведчики должны были ходить по двое.

С первого «боевого задания» мы с Витькой Малышевым (он из 6 «б») возвращались удручённые: возле церкви на нас напали синие и Витьку «ухлопали», то есть догнали и сорвали повязку. Теперь «убитый» плёлся обратно в штаб, идти домой ему смерть как не хотелось. Вид у него был, действительно, убитый, голова болталась, как мочалка, ниже плеч.

В нашем лагере царило большое возбуждение. Плутовски улыбаясь, всхохатывая, ребята резали на куски моток медной проволоки, обматывали их повязками, получали толстые и прочные жгуты, эти жгуты старательно прикручивали к рукаву. Красные всерьёз готовились к боям. Чтобы сорвать повязку, закреплённую таким манером, надо владельца изловить, повалить наземь, поддержать, чтобы не брыкался, и открутить проволоку. Одному не справиться, а вдвоём – можно. Только зря мы думали, что синие ушами хлопают: в первой же стычке выяснилось, что они тоже усилили свои повязки, но не проволокой – верёвками.

– А что мне делать? – канючил Малышев. Он так раскис, что, кажется, щелкни – и нокаутуешь.

«Главкомандующий» поставил нас по стойке «смирно» и приказал доложить по полной форме, как было дело, видел ли Виталий Николаевич, что синие догнали Витьку. В заключение спросил «убитого»:

– Что-нибудь красное найдется дома?

– Так точно, товарищ командир! – гаркнул тот, козыряя. Он сразу стал выше ростом, вертанулся на одной ножке и помчался раздобывать красную тряпицу, чтобы воскреснуть из мёртвых и вновь устремиться на подвиги.

А мне не сиделось на месте. Я доказывал Кириллу, что надо срочно идти в разведку и разузнать, где «главные силы противника».

– Ладно, чёрт с тобой, выбирай себе помощника и отчаливай! – совсем не по уставу отмахнулся Бояркин.

– Зачем, Киря, зря людей переводить? Я один пойду.

Пользы от моих «разведданных», скорее всего, никакой не было. По примеру Гавроша я портил нервы синим, дразнил их, злил, навязывал игру в кошки-мышки.

Один раз, когда я нарывался совсем уж нахально, синие окружили меня. Затравленно зыркал в поисках лазейки: с одной стороны школа с палисадом, занесённым снегом, с другой – дома с высокими заборами и злыми собаками во дворах, а спереди и сзади по улице – «цепи противника».

На глаза мне попался телеграфный столб, и сразу вспомнился рассказ о мужике, спасшемся от волков на дереве. Бегу к столбу, на ходу заталкиваю варежки в карманы, а сам думаю:

вдруг да не получится? Летом-то часто лазал по телеграфным столбам, выработал цепкость и хвастался, бывало, тем, что добираюсь до самых проводов, так то летом – босиком, головушем, в одной рубахе!..

Уже у самого столба расстегнул пуговицы на пальто, распахнул полы и стал взбираться. А синие совсем близко, вон бегут, пыхтят, торопятся. Неужели не успею набрать высоту? Неужели схватят за ноги? Эх, тихо подвигаюсь! Необутая-то нога, как змея, кольцом обвивает столб, а валенок – что чурка, скользит по сухому, выветревшему, гладкому дереву.

– Шмотри-ка, цто Вашька удумал! На штолб жалеш! Вот цумовой! – хохочет, слышно, подо мной Митька Тараканов, безбожно, как все ленские, шепелявя. Эту шепелявость в речи учеников с большим трудом изживали в школе.

– Подсадите меня! Живо! Ну! – это голос Кольки Сизых, из седьмого класса, он у них, по-видимому, командир.

И вот уж чья-то рука схватила меня за валенок. Я отлягнулся, подтянулся на руках, изо всех сил сжал коленями столб. Ещё, ещё немного – и я буду недосыгаем.

– Пирамиду! Ребята, делаем пирамиду в три этажа! Не уйдёт! Живо! Живо! – вовсю суетился Сизых.

Но и пирамида им не помогла: пока они её строили, я уполз ещё выше.

– Ну что, облизнулись? – насмеялся я сверху. – Эй вы, синие, фиолетовые! Куда вы годны!

Когда достиг середины столба, остановился передохнуть. Держась одними ногами, грел руки за пазухой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.